

ГЕОРГИЙ
ШИЛИН

МЕДБЕСТСЕЛЛЕР. ЛУЧШЕЕ

ПРОКАЖЕННЫЕ
ИСТОРИЯ
ЛЕПРОЗОРИЯ

МедБестселлер. Лучшее

Георгий Шилин

**Прокаженные.
История лепрозория**

«Издательство АСТ»

2022

УДК 82-311.4
ББК Ш5(2=Р)72-644

Шилин Г. И.

Прокаженные. История лепрозория / Г. И. Шилин —
«Издательство АСТ», 2022 — (МедБестселлер. Лучшее)

ISBN 978-5-17-152976-5

Георгий Иванович Шилин — советский прозаик, участник Первой мировой войны. Его первую книгу положительно оценил Максим Горький, расцвет творчества пришелся на 20–30-е годы прошлого века, затем автор был на долгое время забыт. Самый известный роман Георгия Шилина — «Прокаженные». Погрузиться в изучение борьбы с лепрой, этим страшным и мифологизированным недугом, писателя заставила личная история: приехав на время в родной город, Шилин захотел навестить старого друга, однако узнал, что тот болен и помещен в лепрозорий. Так писатель впервые оказался на «большом дворе» и несколько дней прожил среди прокаженных. Впоследствии Шилин не раз посещал лепрозории в разных городах СССР, а также для своего романа изучал доступную медицинскую литературу, консультировался с видными специалистами и даже участвовал в работе съезда врачей-лепрологов. Помимо серьезной научной базы, роман выделяется яркими, живыми характерами его героев: больных, чья общественная жизнь оборвалась, хотя физически они продолжают свое существование, часто уже без надежды когда-либо покинуть лепрозорий; врачей, самозабвенно преданных науке и своему делу, отказывающихся пасовать перед одной из древнейших известных человеку болезней.

УДК 82-311.4
ББК Ш5(2=Р)72-644

ISBN 978-5-17-152976-5

© Шилин Г. И., 2022
© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Предисловие	7
Первые свидетельства о болеющих лепрой	9
Лепра в древних письменных источниках	10
Прокаженные в Средние Века	12
Жизнь заболевших и изучение болезни в первых лепрозориях	13
Появление лепры и борьба с ней в России	14
Советский быт прокаженных	16
Список используемой литературы	18
Книга первая	19
1. Обитатели семи белых домов	19
2. Больной двор	21
3. О чем мог писать человек с «львиным лицом»	24
4. Прокаженный изучает природу	31
5. Картины Кравцова	34
6. Протасов слушает Кравцова	38
7. Петя и Арлюк	43
8. Двое новых	49
9. Конец Басова	55
10. Лучи «оттуда»	60
11. Прошедшие мимо	65
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Георгий Иванович Шилин

Прокаженные

История лепрозория

* * *

© Шилин Г. И.
© Белик К. М.
© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

История болезней сегодня вызывает особенный интерес как у читателей, так и у писателей. Не стала исключением и история эпидемий: исследователи все чаще обращаются к сюжетам о чуме, сифилисе, чахотке, а на книжных полках появляются труды о клиниках, врачах и их пациентах. Во многом такое внимание можно связать с повышением в последние годы уровня общественной гигиенической культуры. Однако внимание литераторов к болеющим и их болезням обращалось и ранее.

В литературных и журналистских кругах 1920-х–1930-х годов имя Георгия Ивановича Шилина (1896–1941) было на слуху: его произведения и писательский талант широко оценивались С. Кировым, М. Горьким и К. Фединым, книги переводились на иностранные языки и неоднократно переиздавались. При этом профессиональная жизнь Георгия Ивановича включала в себя не только литературное поприще: в разные годы он был и помощником продавца, и конторщиком, и рассыльным газет. К писательству Шилин пришел в годы гражданской войны – стал корреспондентом, а в 20-е годы редактором газет «Известия Георгиевского Совета» и «Красный Терек», где начал публиковать свои очерки, фельетоны и стихи. Уже в 1928 году Шилин переехал в Ленинград и начал профессиональную деятельность литератора. В это время выходят в свет его произведения «Страшный Арават» (1929), «Главный инженер» (1931), «Камо» (1931). Роман «Прокаженные» был впервые опубликован в 1930 году. Творческие успехи способствовали важным профессиональным достижениям: с 1933 года Шилин становится членом Всероссийского Союза советских писателей, а в следующем 1934 году – членом Союза писателей СССР.

Однако многие из писателей того времени, кто обозначал на страницах своих произведений «неудобные» сюжеты советской жизни, сейчас либо неизвестны, либо забыты. Причина такого умолчания кроется в их искусственном исключении из общественного дискурса после сфабрикованных дел. Георгий Шилин был арестован в 1936 году и обвинен в «задачах свержения Советской власти и восстановления в СССР капиталистического строя». Отбывая свое наказание в лагере, Шилин был осужден вторично за «инициирование контрреволюционной группы». Хоть в 1956 году Георгий Иванович и будет посмертно реабилитирован и ему будут возвращены права члена Союза советских писателей, все эти обвинения станут причиной исключения его произведений из литературной жизни страны на долгие годы.

Описываемые Шилиным в произведениях сюжеты напрямую связаны с сюжетами его биографии: вдохновение для своих художественных линий и героев Георгий Иванович черпал из окружавшей его действительности. Так случилось и с романом «Прокаженные», который был написан после посещения автором своего болеющего товарища и лепрозория «Крутые ручьи». Поэтому несомненным достоинством романа является его опора на реальные истории пациентов лепрозория. Отношение персонажей книги к социальным и политическим потрясениям страны, перипетии их взаимоотношений с родственниками, отчаяние и непонимание своей дальнейшей судьбы – все это в тексте Шилина является отражением модели советского мира 20-х–30-х годов. В своем романе, который многие литераторы относят к жанру социалистического реализма, автор подчеркивает важность постоянного обращения от внешнего миропорядка к внутреннему миру человека, его чувствам и ценностям. В силу жанровой специфики определенную сложность при чтении могут вызывать скупость художественных образов в описываемых диалогах, наличие политических пропагандистских речей, обилие трагизма и драматических сцен. Однако именно это и делает роман Шилина близким к действительности раннесоветского повседневного языка и быта, к новой и непонятной жизни советского человека в новой стране.

Одним из центральных образов в «Прокаженных» является само заболевание – лепра, проказа или болезнь Хансена, вокруг которой выстраивается жизнь главного героя, доктора Туркеева, и его пациентов. Сегодня врачи применяют комбинацию препаратов, с помощью которых с вовремя выявленной болезнью можно справиться в среднем за пять лет, а чаще всего это удается за год. Однако долгое время в мировой истории с проказой были связаны представления об обреченности, смерти, стигматизации и изоляции от общества. Вот, как это было.

Первые свидетельства о болящих лепрой

Определить историю появления проказы помогают данные палеоантропологии: при обнаружении останков древних людей во время археологических раскопок ученые обращают внимание на различные деформации костей. Сейчас даже удастся извлечь из останков генетический материал бактерии, вызывающей характерные для лепры поражения скелета, и определить конкретный штамм этой бактерии.

Так, старейшие антропологические находки с признаками проказы были обнаружены в Египте в оазисе Даклах и датируются III веком до нашей эры. А в 2009 году группой ученых во главе с антропологом Гвен Роббинс из Аппалачского университета (Северная Каролина) было опубликовано исследование обнаруженного скелета. Он был найден при раскопках индийского поселения Балатхал (3700–1200 годы до нашей эры), а само погребение датируется 2000 годом до нашей эры. Его отличием от других служит то, что захоронение было совершено в горе пепла. Этнографические данные свидетельствуют, что умерших от проказы в некоторых регионах Индии не кремировали после смерти, что было традицией, а захоранивали в пепельных кучах.

В Европе наиболее древними считаются находки на территории Великобритании, Франции и Скандинавии. Они датируются IV–V веками нашей эры. К этому же времени относятся несколько черепов с признаками лепры из раскопок в катакомбах Парижа. География следов заболевания охватывает Западную и Центральную Европу: Великобритания, Германия, Дания, Венгрия и Польша. В это же время появляются сведения о заболевших и на юге Восточной Европы – в Подонье и в средневековом Киеве.

Лепра в древних письменных источниках

Древнейшими письменными источниками для изучения проказы являются Библия, древнеиндийские, древнекитайские, древнеегипетские и некоторые месопотамские тексты. Сложность изучения болезни по этим текстам связана с различиями переводов первоисточников – часто лингвистами и филологами слова подменялись известными им аналогиями. Поэтому ученые обращают внимание не на термины, а на описываемые в текстах симптомы и признаки заболевания.

Первое достоверное упоминание о проказе встречается в Ведах, записанных около 600 года до нашей эры, хотя некоторые исследователи предполагают, что она была известна и египтянам (папирус Эберса, 1550 год до нашей эры) и авторам Ветхого Завета (VII–VI века до нашей эры). В древнеиндийских источниках описываются случаи появления язв на теле и деформации стоп, приводящей к потере чувствительности, – это действительно характерное для лепры проявление. Это дало исследователям повод говорить о распространении проказы в Индии в VII веке до нашей эры, хотя до сих пор индийских палеоантропологических находок этого периода с заболеванием не обнаружено.

Древнееврейский историк Иосиф Флавий сообщал о 80 тысячах прокаженных, изгнанных из Египта царем Аменофисом. Царь принял такое решение по совету мудреца и провидца, чтобы узреть богов. Время описываемых событий определить трудно – в этой истории используется условное наименование должности царя Египта. Некоторые исследователи считают, что события имели место примерно в середине II тысячелетия до нашей эры.

Для древних греков человек с кожей с признаками проказы был олицетворением гнева богов и сильного проклятья. От этого и возникло табу на само существование носителя инфекции: зараженных сжигали и сбрасывали в бездонные ущелья гор. Древнегреческий историк Геродот писал, что больных принимали за проклятых безумцев.

В книгах Библии упоминания о проказе встречаются несколько раз. К более древней дате нас отправляет библейская история царя Иова, правившего в Едоме (Иов. 1–42; Лев. 13, 14). История разворачивается к востоку от Палестины в 1700–1650 годах до нашей эры. При беседе с сатаной Бог говорит об Иове как о непорочном, справедливом и правильном человеке. Сатана высказывает сомнение, останется ли таким Иов после ряда тяжелых испытаний, второе из которых коснулось тела и было связано с появлением болезни: «И отошел сатана от лица господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы соскоблить себя ею, и сел в пепел (вне селения)». Сам Иов характеризует свою болезнь так: «Тело мое одето червями и пыльными струпями: кожа моя лопается и гноится».

Исследователи предполагают также, что библейское понятие проказы могло включать и другие заболевания, которые в настоящее время рассматриваются как самостоятельные. В некоторых случаях под проказой в Библии подразумевается псориаз (*psoriasis vulgaris*). Например, перед тем, как отправить Моисея с Аароном к старейшинам сынов Израилевых (Исх 4:6), Бог демонстрирует Моисею болезнь: «Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот, рука его побелела от проказы, как снег». В настоящее время медицинской науке известно, что высыпания при псориазе, как правило, покрыты серебристо-белыми чешуйками, которые по внешнему виду вполне сравнимы со «снегом». Проказе же высыпания, похожие на снег, совершенно не характерны. Поэтому можно предположить, что когда в Библии высыпания на коже человека сравниваются со «снегом», речь идет все же о псориазе.

О причинах заболевания в Библии ничего не сказано. Стремление людей во что бы то ни стало избежать проказы объяснялось тем, что прокаженный на все время болезни считался нечистым в культовом отношении и поэтому отстранялся от участия в богослужении. Хрониче-

ское заболевание становилось тяжелым несчастьем и испытанием для больного. Так, прокаженный царь Озия «до дня смерти своей жил в отдельном доме и отлучен был от дома Господня» (4 Цар. 15:5). Прокаженные должны были носить разорванную одежду, ходить с непокрытой головой, быть закрытыми «до уст» и при появлении людей кричать: «Нечист! Нечист!» (Лев. 13:45).

Что же делать, чтобы исцелиться от заболевания? Ответ можно обнаружить в книге Второзакония, где говорится: «Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь [закон], которому научат вас священники левиты; тщательно исполняйте, что я повелел им» (Втор. 24:8, 9). Также путь к исцелению приводится при описании времен пророка Елисея (852–841 до нашей эры), когда «много было прокаженных в Израиле»: предводитель войск царя Сирийского Неемана был поражен проказой, но исцелился, совершив 7 раз омовение в Иордане.

Прокаженные в Средние Века

В средневековье эту болезнь называли «императорской» или «розой дьявола с острыми и болезненными шипами». Обладателям шелушащихся островков на теле иной раз приходилось надевать капюшон с колокольчиками для обозначения своей болезни и навсегда покидать родные места. Такая изоляция связана с главным средневековым симптомом лепры – невозможностью исцелиться: после различных вариантов лечения облегчение не наступало и больному выносился «приговор».

Считалось, что лепра передается воздушно-капельным путем, поэтому осматривавшим больных советовали прикрывать лицо. Интересно, что судьбу больного человека определял не врач, а священнослужитель: если он видел, что багровые пятна расплывались по телу, то ставил диагноз – «нечист». При этом в европейских странах мессу по больным служили так, будто они были уже мертвы. В середине XIII века положение изменилось и в Европе появились профессиональные врачи. Они занимались не только лечением, но и профилактикой – могли рекомендовать пациенту индивидуальную диету или правила гигиенического ухода.

Чтобы поставить диагноз, человека расспрашивали об ощущениях, внимательно осматривали и ощупывали все тело. Так обнаруживали те самые участки кожи, потерявшие чувствительность. Иногда процедуру осмотра завершал судебный процесс, который решал дальнейшую судьбу пациента: признают ли его здоровым и отпускают на свободу или окончательно объявят больным и подвергнут общественной изоляции.

Основными рекомендациями для облегчения самочувствия больных было следующее: избегать холода и жара, соленой, кислой и пряной пищи, сексуальное воздержание. Медики с самыми радикальными взглядами рекомендовали кастрацию, но решился ли кто-либо сделать это на самом деле исследователям неизвестно. В соответствии со средневековыми представлениями тела больных время от времени «очищали» – избавляли от «плохой» крови с помощью кровопускания. Лучше помогали водные процедуры: омовения и отшелушивание пораженной кожи. Иногда для облегчения симптомов медицинские трактаты предлагали весьма экзотические средства: например, богослов и знаток наук о природе Альберт Великий в XIII веке советовал снадобье из шкуры ежа, сожженной вместе с иглами. А Моисей Маймонид, мыслитель, раввин и врач XII века, считал, что умерить проявления болезни можно средством из высушенного мяса дикобраза.

Стереотипы о болезни и ее неизлечимость закрепили в средневековом мышлении негативное отношение к больным лепрой. Их изгоняли, считали отталкивающими и опасными, подозревали в самых разных преступлениях. Например, во французской провинции Лангедок в 1321 году сожгли 600 больных – из них лишь половину подозревали в инфекции. Тогда лепрофобию связали с бытовавшим антисемитизмом: пустили слух, что иудеи раздают больным проказой яд, чтобы те отравляли колодцы с целью заговора против короля.

Тем не менее у средневекового восприятия лепры была и другая сторона: большая ориентация средневекового человека на религию позволяла воспринимать физическое страдание как очищение души от грешных пороков, поэтому столь сильная болезнь служила гарантией спасения души после смерти. Отметины, оставленные болезнью, считали знаком избранности, особого благоволения Бога к несчастному. Считалось, что через недуг Господь давал человеку возможность прожить праведную жизнь, близкую к монашеской.

Жизнь заболевших и изучение болезни в первых лепрозориях

Один из первых лепрозориев возник в Армении: он был открыт еще в 260–267 годах нашей эры возле родников Арбенут женой армянского феодала Сурена Салауни – княгиней Авида. Лепрозорий вмещал 35 больных. Возможно, это самый древний известный нам лепрозорий, который позволяет говорить о распространении проказы в Закавказье в III веке нашей эры. Во Франции в 570 году нашей эры был открыт первый лепрозорий для людей высшего сословия, который считается самым древним в Европе.

Появление специальных медицинских учреждений для больных можно связать не с увеличением числа заболевших, а с повышением общей медицинской и гигиенической культуры и первых схем лечения болезней. Во многие лепрозории принимали как мужчин, так и женщин: они жили в разных помещениях, но вместе присутствовали в трапезной, в церкви и на общих собраниях для обсуждения насущных дел.

Вопреки распространенному мнению, средневековый европейский лепрозорий не был тюрьмой или местом заточения, а людей там не заточали на всю жизнь. В уставах многих заведений говорилось, что пациент может уходить за пределы территории, при этом его должен был сопровождать другой заболевший. Некоторые средневековые правители действительно устанавливали на своей территории правила полной изоляции больных, но так было не везде. Более того, не существовало общих норм, которые принципиально запрещали бы прокаженным контакты со здоровыми людьми.

На сегодняшний день, возможно, лучше всего сохранившийся лепрозорий в Европе – это музей госпиталя Святого Йоргеса (основан в XV веке). Здесь работал норвежский врач Герхард Хансен, который в 1871 году открыл возбудитель лепры. В 1872 году он опроверг господствовавшую тогда концепцию о наследственной передаче лепры. Хансен продемонстрировал, что изоляция больных имела строгое научное обоснование: болезнь вызывалась микроорганизмами, которые могли передаваться от человека к человеку. По рекомендациям врача в Норвегии больным запретили свободное передвижение по стране, они были обязаны оставаться в изоляции в больницах или сидеть дома. Такие меры показали высокую эффективность, и заболеваемость проказой резко упала, а норвежский опыт впоследствии переняли другие европейские страны.

Появление лепры и борьба с ней в России

В России инфекция лепры появилась в XIII веке: болезнь пришла по торговым путям – основному каналу коммуникации между странами в то время, – из прибалтийских губерний, а также из Турции, Ирана и Византии. До конца XIX века централизованного решения инфекционной проблемы не существовало: какие-то больницы открывались, но вскоре из-за недостатка средств их расформировывали, а больных возвращали в поселения.

Одним из самых древних очагов лепры в нашей стране является регион реки Дон: в официальных документах о лепре на земле Войска Донского упоминается уже во второй половине XVII столетия. Считается, что с территории Ростовской области лепра распространилась на Кубань, Терек, в Астраханскую область, Сибирь и на Дальний Восток. Поэтому именно здесь был открыт первый лепрозорий, который просуществовал 100 лет (1768–1869). Однако он не решил проблему ликвидации лепры в Ростовской области – деятельность его сводилась лишь к изоляции больных и к их порицанию.

Перемены произошли на рубеже XIX–XX веков. Врач-инфекционист и эпидемиолог Григорий Николаевич Минх первым на Кубани поставил официальный диагноз лепры в 1884 году, когда обнаружил 17 случаев заболеваний проказой в селениях. По итогам своей работы с заболевшими он выпустил двухтомную монографию «Проказа (lepra arabum) на юге России», в которой описал историю заболевания с древнейших времен и дал современную медицинскую характеристику недуга.

Минх активно внедрял инновации в борьбу с лепрой: он исследовал болезнь, участвуя в специальных экспедициях в Херсонскую и Таврическую губернии, в Туркестан (1880–1885), а также в Египет и Палестину (1890). Ученый отстаивал точку зрения о заразности этой болезни, противопоставляя ее распространенной тогда концепции о наследственности проказы. Наконец, в 1905 году в Краснодарском крае был создан один из старейших на сегодняшний день лепрозориев в России. Позже в Ростове-на-Дону было создано «Общество для борьбы с проказой», в которое вошло более 100 человек. На средства Общества в городе был куплен небольшой дом, в котором за счет пожертвований содержались 10 больных лепрой.

Еще одна попытка победить проказу в России связана с иностранными специалистами. В 1890 году, по приглашению Российского общества Красного Креста, для получения награды от императрицы за медицинскую помощь солдатам в Болгарии во время Русско-турецкой войны в Москву приезжает английская сестра милосердия Кэт Марсден. Приняв приглашение, Кэт решила воспользоваться шансом и получить средства и покровительство от российских властей для оказания помощи больным лепрой. Перед тем, как отправиться в Москву, она совершила путешествие по Ближнему Востоку с целью сбора дополнительной информации о проказе. В Константинополе Кэт впервые услышала от попутчика-англичанина о растении, произрастающем в Якутии и якобы способном не только облегчать страдания больных, но даже полностью излечить их.

По воспоминаниям Марсден, жители Якутии, узнавав о ее миссии, оставляли полевые работы и оказывали ей посильную помощь: прорубали дороги, наводили проезды через болота. Так как якуты считали проказу настоящим проклятием, заболевшие навсегда изгонялись из общества в лесную глушь и организовывали там самостоятельные поселения. Марсден пришла в ужас и негодование, увидев в каких условиях живут местные прокаженные. Чтобы облегчить их участь, она приняла решение создать в Якутской области лепрозорий. Для этого была собрана сумма порядка 10 000 рублей, на которую приобрели теплую одежду и скот для прокаженных и построили просторные юрты для их временного проживания.

В Якутии Кэт действительно нашла лекарственное растение: больным проказой помогали лепестки кучукты (полынь Гмелина), но они оказывали лишь обезболивающий эффект.

Однако назвать экспедицию провальной нельзя: путешествие англичанки привлекло внимание газет. По возвращении в Англию Марсден выступала с лекциями и создала «Фонд помощи прокаженным». Ей удалось собрать 2 400 фунтов стерлингов, которые были переданы в Россию. На них в 1897 году построили лепрозорий в Вилуйске, где к 1902 году проживало уже 70 больных. В Якутскую область стали приезжать сестры милосердия, а вместе с ними приходили и новые пожертвования для больных.

Говоря о центре страны, в 1888 году в столице врач-дерматолог, заведующий отделением кожных заболеваний в Александровской больнице Оскар Владимирович Петерсен первым в Петербургской губернии выявил больных лепрой и собрал 12 случаев заболевания проказой. Петерсен обнаружил, что ранние проявления проказы выражались в поражениях носа: он утолщался, возникал стойкий насморк, кровотечения и язвы слизистой оболочки. Врач инициировал создание «Общества борьбы с проказой в Санкт-Петербургской губернии», задачей которого было создание лепрозория, где больные в удалении могли бы жить, лечиться и работать.

Лепрозорий начали строить в Ямбургском уезде: спроектировали бараки для холостых людей, дома для семейных и врачей, небольшое подворье, где можно заниматься хозяйственными работами. Со временем лепрозорий получил название «Крутые ручьи» и стал большим больничным центром, куда приезжали для изучения лепры инфекционисты. Не обошлось и без драм: молодой специалист из Петербурга пришел к ошибочному выводу, что разработал вакцину против лепры на ранней стадии. Он привил себе инфекцию для чистоты эксперимента, но разработки оказались ошибочными, после чего врач повесился.

К 1902 году в «Крутых ручьях» поселилось 80 человек, зараженных лепрой. Иногда в лепрозорий попадали революционеры, чтобы скрыться от преследования: так в «Крутых ручьях» оказался Александр Грин – автор романтической повести «Алые паруса». Писатель прятался здесь из-за своего политического вольнодумства, а в лепрозории оказался благодаря дружбе с поэтом Леонидом Андрусонем, брат которого – Владимир Андрусон – с 1908 года был главным врачом в «Крутых ручьях».

Однако централизованных мер по снижению уровня заболеваемости и помощи заболевшим лепрой в Российской империи так и не сложилось. Серьезная и спланированная политика по здравоохранению начнется уже после революции, когда перед новым руководством страны встанут вопросы как о продолжающемся росте болезней, так и о санитарной безграмотности населения.

Советский быт прокаженных

Придя к власти в стране, большевики оказались перед угрозами разрастающихся эпидемий. В 1919 наркомом здравоохранения Н. А. Семашко был дан старт созданию новой системы здравоохранения и активной борьбе с «социальными заразами». А в 1923 году постановлением Совета народных комиссаров было закреплено особое внимание к проблеме заболеваемости населения лепрой: «Возложить на народные комиссариаты здравоохранения ведение точного учета всех больных проказой и заботу об обязательной изоляции больных».

В 1927 году Наркомздрав вводит должность врача-лепролога, в стране началась систематическая работа по выявлению и учету больных и контактных лиц, обследованию очагов заражения, систематические осмотры советских граждан, мероприятия по иммунопрофилактике. Особое внимание уделялось санитарному просвещению: для распространения знаний о здоровье в понятной форме создавались специальные санитарные театры, снимали фильмы о болезнях, общественные пространства увешивали гигиеническими плакатами об эпидемиях и борьбе с ними. Для детей придумали настольные игры о важности ежедневных гигиенических ритуалов, Корней Чуковский в 1921 году написал знаменитого «Мойдодыра», а уже в 1927 по сказке был снят первый мультфильм.

Профессиональная помощь прокаженным проявлялась в строительстве специальных больниц, всего в Советском Союзе их будет 14. В отдельных лепрозориях обитателям старались создать условия нормальной жизни – между больными устраивали турниры по баскетболу и волейболу, пациенты играли в музыкальных ансамблях, отправлялись с гастролями из одного медицинского учреждения в другое. На территории для них строили оранжереи и палисадники. При Астраханском лепрозории даже была тюрьма, где на амбулаторном лечении отбывали наказание больные, совершившие преступление.

В 1936 было начато строительство Абинского клинического лепрозория, первые пациенты которого поступили на лечение уже в 1938 году. Здесь построили удобные домики для больных, лепрозорий имел подсобное хозяйство, пасеку, виноградники и фруктовые сады, функционировал собственный кирпичный завод. С 1937 года при лепрозории был открыт детский дом для детей, родители которых находились на стационарном лечении.

Однако отсутствие в 1920–1930-х действенного лекарства, визуальный и физический дискомфорт протекания болезни и несметное количество мифов и легенд о проказе сохранили общественную стигматизацию и само-стигматизацию болеющих, которая стала объектом рефлексии представителей творческих профессий: художников, поэтов и писателей.

Автор романа Георгий Шилин, вернувшись в конце 1920-х годов из Ленинграда в родной город Георгиевск узнал, что его друг детства заболел лепрой и оказался в лепрозории. После бесед с главным врачом и наблюдений за жизнью больных в лепрозории «Крутые ручьи» Георгий Иванович и пишет свой роман, который выдержал за короткий срок четыре издания. В романе «Прокаженные» Шилина прослеживается, что отношение к пациентам лепрозория во многом не поменялось с древнейших времен: от них отворачиваются родные, друзья и любимые. «Я никому не нужное, отвратительное, опасное бремя», – говорит один из героев «Прокаженных». Судьба самих «Крутых ручьев» закончилась в 1940-е: в начале Великой Отечественной войны больных эвакуировали в Краснодарский край, а на месте лепрозория разросся лес, который скрыл следы бытовавших здесь ранее пациентов.

Помимо Шилина, историю лепры и заболевших затрагивал также Варлам Шаламов. В своем рассказе 1963 года «Прокаженные» Шаламов размышляет о возможности социализации и судьбах больных, описывает разные случаи во время и после войны: «Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную жизнь, где их принимали за жертв

войны, за героев, быть может». Кто-то из людей смог устроиться работать на заводы, а кто-то просто слонялся от места к месту.

* * *

Первый эффективный препарат для лечения лепры был синтезирован американским врачом Гаем Фаге в 1946 году. Со временем советские медики начали опираться на мировой опыт терапии лепры, в протоколах лечения появились действенные рекомендации, а случаи заболевания стали носить единичный характер. Сегодня лепра не является ни наказанием, ни проклятием – это просто заболевание, которое можно излечить. Однако страх и мифы окружают эту болезнь по сей день, восходя и к древнейшим временам, и к средневековью, и к советской повседневности. В произведении Шилина можно увидеть честный подход к болезни, различные способы «болеть», принятие и отказ от метафорического мышления. Повседневная жизнь пациентов лепрозория, их судьбы и характеры – все это делает роман Георгия Шилина «Прокаженные» настоящей эмоциональной прозой.

*Ксения Белик,
историк медицины*

Список используемой литературы

1. Бужилова А. П. Древняя проказа: история появления и распространения в Европе // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2004. – № 14. – С. 623–630.
2. Григорьев Г., Терлецкий О. Псориаз и кожные болезни в Библии // Вестник РХГА. – 2014. – № 4. – С. 220–228.
3. Колесников Ф. Н. Лепра: из тени на свет. Очерк о загадочной болезни [Электронный ресурс] // Universum: медицина и фармакология. – 2018. – № 1 (46). Режим доступа: <http://7universum.com/ru/med/archive/item/5443>.
4. Сонтаг С. Болезнь как метафора. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 176 с.
5. Страшун И. Д. Охрана здоровья трудящихся в Советском Союзе (К 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции). – М.: Медгиз, 1947. – 80 с.
6. Demaitre L. Leprosy in premodern medicine: a malady of the whole body / Luke Demaitre. – The Johns Hopkins University Press, 2007. – 323 p.
7. Miller T. Walking corpses: leprosy in Byzantium and the medieval West / Timothy S. Miller and John W. Nesbitt. – Cornell University Press, 2014. – 244 p.

Книга первая

1. Обитатели семи белых домов

Рано утром, с восходом солнца, на дворе появился Доктор Туркеев.

Население семи домов, никогда не терявших своей великолепной белизны, еще спало. Только козлиное семейство одиноко бродило возле цветника с очевидным намерением проникнуть в него да пес Султан, заметив Сергея Павловича, глупо заулыбался и побежал навстречу.

Сегодня в пять часов вечера Сергей Павлович поедет в город к жене и дочери. Он не видел их с прошлого понедельника. Жена опять будет бояться – как бы зараза не проникла в дом. Она заставит его принять ванну из раствора сулемы, сменить белье, одежду и только тогда впустит в столовую или спальню.

Она не любит его работы и считает Туркеева фанатиком. Так же, как всегда, Сергей Павлович молча выполнит все ее требования, а завтра опять, стараясь смотреть в сторону, наметит ей о переезде из города – туда, в поселок, в степь. И снова жена равнодушно назовет его «сумасшедшим», и опять он поедет к месту службы один.

Доктор свыкся с безнадежностью переезда семьи так же, как свыкся со своей работой в этом поселке, одно название которого нагоняет страх на самых отважных людей...

Вслед за доктором Туркеевым встала Лидия Петровна. Она постояла у зелени, окутавшей веранду и облитой ночным дождем, поправила оборвавшиеся гирлянды ползучих цветов и вышла во двор. Доктор Туркеев устремил свою острую бородку туда, где стояла девушка, и сказал, шурясь на ее полусонное лицо:

– Как же это вы, батенька, проморгали такое прекрасное утро? Ну, скажу вам, и восход был сегодня... А вы спаньем занимаетесь. Бить вас надо.

Она обрадовалась хорошему настроению доктора и погладила подбежавшего к ней Султана.

– А подружка ваша еще дрыхнет?.. Нет, – сказал он, подумав, – если вы так будете спать, из вас не получится хороших врачей. Да-с. Ваша Вера Максимовна отродясь не видела, вероятно, настоящего солнечного восхода и видеть не желает... Это, батенька, не годится...

Лидия Петровна и Вера Максимовна работали лаборантками при амбулатории.

В прошлом году они обе кончили медицинский институт и по собственному желанию выбрали работу в поселке, находящемся в этой глухой степи. Они, конечно, скучали по городу, по театрам, по знакомой, привычной среде, а радиоконцерты, которые слушали они каждый вечер у себя в комнате, не могли удовлетворить их, так же как не удовлетворяли работы по вышиванию, как не могли удовлетворить книги и письма, приходившие из города один раз в неделю.

Но они были молоды. Чувство долга и любопытство торжествовали над всем остальным.

Лидия Петровна обожала доктора Туркеева, как обожают маленькие дети взрослых. Ей льстило, когда он первый начинал с нею разговаривать. Она считала его величайшим мастером своего дела, и во всем, что бы ни говорил он, девушка искала какой-то таинственный смысл, на который она никогда сразу не могла подобрать достойного ответа и всегда смущалась.

– Ну, если хотите, поедьте сегодня в город, – сказал он.

– С радостью, Сергей Павлович... – и не знала, о чем говорить дальше.

Ее выручил подошедший Пыхачев. Его сорокапятилетняя лысая голова блестела на солнце, глаза улыбались. По должности заведующего хозяйством, ответственного за урожай, Пыхачев больше чем кто-либо был в восторге от пронесшейся ночью грозы. Великолепие утра его несколько не интересовало.

Дней через десять можно начать покос. Только одно обстоятельство беспокоило его: хватит ли на уборку людей?

Он поправил на высоком, круглом животе шнурок и потрепал самодовольную морду Султана, успевшего тщательно обнюхать его белый костюм.

– Этот подлец вчера загнал куда-то в овсы барана. До сих пор нет. Вздумал, мерзавец, поиграть... Шуточки... Где баран, негодяй?

Султан снисходительно сунул морду в руку Пыхачева и тем самым дал понять, что вчерашнее событие с бараном его нисколько не интересует.

– Выдрать, – посоветовал доктор.

– Пусть его, – добродушно сказал Пыхачев, – отыщется.

Четвертым на дворе появился аптекарь Клочков. Он был, как всегда, угрюм и не замечал ни солнца, ни неба. Дело в том, что Клочков считал аптеку нудным бременем, зачем-то взваленным судьбой на его плечи. На свою «кухню» он смотрел как на скучную книгу, тысячи раз прочитанную, выученную наизусть и тем не менее заставляющую читать себя снова и снова – каждый день. Надо читать – она дает хлеб. Вот перепелки... – иная штука. За ними – будущее! Это не мази и микстуры, не возня с вонючими жидкостями. Это – путь непрерывных, совершенно исключительных достижений. Одним словом – проблема.

«Перепелиная проблема» заключалась в следующем: Клочков изумительно мог подражать перепелиному пению. Сидя в просе, с расставленными сетями, он настолько искусно выводил трели, так подлаживался под птичий голос, что Томилин, лекпом и пламенный последователь Клочкова, обманывался, а птица бежала как угорелая на предательскую трель и глупо погибала в сетях.

По-видимому, там, в просе, и зародилась у Клочкова мысль превратить поселок в «перепелиный совхоз». Он даже разработал целый план, в котором фигурировали инкубаторы, скрещивания птичьих пород, экспорт, валюта, экскурсии со всех концов Союза и, как итог, – все светная слава.

Однако замысел этот не встретил нигде должного сочувствия благодаря, как думал Клочков, некультурности бухгалтера-счетовода Белоусова и хозяйственной ограниченности Пыхачева. Поставленный на обсуждение хозяйственного совета «перепелиный план» не нашел ни у кого поддержки, тем более что Белоусов с цифрами в руках доказывал всю абсурдность замысла Клочкова. За это бухгалтер раз и навсегда был лишен права на перепелиное блюдо, которым время от времени, по великодушию автора проекта, наслаждались остальные обитатели здорового двора.

Но Клочкова не покидала надежда. Он верил в торжество идеи. Пусть только уберут Белоусова...

2. Большой двор

В восемь часов утра в амбулатории начался прием больных. Они шли оттуда, со своего двора, и радовались послегрозному солнечному утру ничуть не менее, чем обитатели семи белых домов.

Здоровый двор стоял на вершине косогора. Больной – внизу. Между ними сорок саженей пустыря и маленькая аллея из лип.

Какую цель преследовала эта аллея: имела ли она назначение сделать здоровый двор менее доступным для прокаженных, стремилась ли скрыть от него боль и тоску обитателей больного двора или была насажена как некая предосторожность против заноса бактерий – сказать трудно.

Во всяком случае дворы разделялись не аллеей и не пустырем, а проказой. История не только не помнит, когда эта болезнь положила грань между людьми, но она также не знает, когда и как началась сама проказа.

Еще в 484 году до нашей эры жители Персии, как свидетельствует Геродот, одержимые проказой, приравнивались к безумным. Прокаженных объявляли умершими. Над ними свершались обряды отпевания, затем их наряжали в особые одежды, снабжали трещотками и, взяв клятву – не нарушать при встречах со здоровыми людьми предписанных правил, – изгоняли из среды живущих. Им отводили убежища в глухих, безлюдных местах, где они нередко умирали от голода. Трупы их оставались непогребенными. Во всех странах закон панически трепетал перед проказой. В 1453 году французский парламент принял постановление: здоровая жена, сожительствующая с прокаженным мужем, несет наказание у позорного столба, а потом изгоняется из общества. По предписанию корана, всякий правоверный, встретившись с одержимым проказой, должен бежать от него, «как от дикого зверя».

Первые лепрозории возникли по почину ордена святого Лазаря, учрежденного крестоносцами в Иерусалиме в 1134 году. Орден взял прокаженных под свое покровительство. С этого времени началась проповедь о милосердии к одержимым «черной немочью». Их больше не жгли на кострах, как сжигал Атила, не изгоняли в пустынные места и не ставили в условия, при которых неминуема голодная смерть. Им предоставляли приют, им оказывали помощь. В 1329 году в Париже был учрежден лепрозорий для больных придворных дам. В Англии и Норвегии были созданы убежища «для народа», и уже в 1500-х годах в Европе насчитывалось свыше девятнадцати тысяч лепрозориев. Конечно, все они являлись скорее местами заточения, чем лечебницами.

Пятьсот лет, отделяющие нас от средних веков, не изменив формы болезни, не отыскав пока средства для ее ликвидации, превратили современные лепрозории не только в лечебные учреждения, но и в места, где, по словам одного ученого, больные могут найти «успокоение и облегчение от ноющих язв».

Костров больше нет. Нет отпеваний, позорных столбов и особых одежд. Осталось деление: здоровый двор и больной.

На больном дворе было восемнадцать зданий. Одно было занято кухней и прачечной, другое – клубом. В остальных жили прокаженные – женщины, мужчины, дети... Всего семьдесят восемь человек. Они жили замкнуто, стараясь в покое своего жилья спрятать от всех и свою боль, и свою непотухающую, как болезнь, тоску. Оживление возникало редко – обычно при появлении на дворе новых больных.

Даже известие о войне не вызвало у прокаженных никаких волнений. Да и какое отношение могла иметь к ним война или они к ней? Какие изменения вносила она в их жизнь?

Только у двух человек это известие вызвало некоторое беспокойство: у Аннушки, сын которой служил в солдатах и вот уже полгода как не писал ей писем, да еще у старика Татош-

кина. Первая была уверена, что ее Яшеньку убьют, а второй желал отправиться «на германца» добровольцем и показать теперешним воякам, как надо воевать. В 1914 году ему пошел шестьдесят девятый год. Татошкин выглядел очень старым. Он едва держался на ногах. Над ним смеялись, и старик сердился.

Кроме этих двух больных, война никого и никак не интересовала.

Иное дело – исцеление! Надежда на него таилась в сердце каждого прокаженного. И странно, у некоторых она была так безмерно велика, что никакая самая безнадежная действительность не могла ее поколебать. Каждый больной, вступая на землю больного двора, считал себя временным гостем. Вот придет срок, и он уйдет, обязательно уйдет здоровым, очищенным, его никто не посмеет удерживать здесь.

Впрочем, никто из них никогда никому не высказывал своих предположений.

Они все хранили их про себя.

Так шли дни, месяцы, годы, и в этих годах прокаженные строили свою жизнь. Они старались быть похожими на здоровых людей – в пище, в домашней обстановке, в одежде, в работе... Среди них имелись хорошие мастера – сапожники, портные, столяры. Все они стремились работать в лепрозории так же, как «там», стараясь выполнить свою работу аккуратно, «по совести».

Некоторые лежали в постелях. Болезнь отняла у них силы, здоровье, возможность работать, но оставила единственное сокровище – надежду.

Поднимались они редко и лежали молча, не жалуясь никому ни на боль, ни на одиночество.

В тот день, когда над степью пронеслась гроза, доктор Туркеев работал с особенным увлечением. Он сиял. Предстоящая поездка в город, по-видимому, являлась причиной такого настроения. Он шутил с больными, был словоохотлив, больные улыбались ему. Они любили его, особенно вот таким, как сегодня.

Доктор хотел предупредить больных, что он берется выполнить в городе их поручения, но опоздал – еще рано утром Лидия Петровна обошла с этой целью больной двор.

– Ну, конечно, – громко болтал доктор, – я всегда и везде опоздаю. Куда мне тягаться с молодежью! Ох уж эта молодежь! На ходу подметки режет.

Больные, слушая его болтовню, чувствовали, что в этом человеке бьется хорошее, горячее человеческое сердце.

– Николай Васильевич, – продолжал Туркеев, – ты стал лучше выглядеть.

Совсем молодцом. Лечись, только аккуратно лечись, не ленись, батенька, ручаюсь: нам придется с тобой расстаться. Неужели ты уедешь от нас? И тебе не жалко? А ты, Анисья, почему такая кислая? Квашеной капусты наелась с утра? Нехорошо. Во сне свадьбу видела? Не верь, батенька, снам, пустое дело.

Вот скоро мы выдадим тебя за Трофима – мужик он дельный, умный, и хотя охочий до чужих жен, но ты накрути ему хвост. Трофим, ты возьмешь ее в жены?

Анисья, я приду к тебе сватом от Трофима. Чего ты отворачиваешься? Приду, вот увидишь – приду. А ты, Настенька, все по мужу непутевому плачешь? Не стоит он твоих слез. Раз на другой бабе женился – кончено, все одно что отрезанный ломоть. Вот подожди немного, подлечим тебя и выдадим за орла.

Посмотри-ка на Мотю – вон какая веселая да розовая, будто только что из бани или со свиданья. Ты, Мотя, в кого влюблена? А? Э-эх, сбросить бы мне десятка полтора, приударил бы я за тобой...

В таких разговорах проходил осмотр. И если бы какой-нибудь посторонний заглянул сюда в эту минуту, он ни за что не поверил бы, что здесь идет врачебный осмотр тех самых людей, которых сторонится человечество, «как диких зверей».

Но чудесное настроение Сергея Павловича было внезапно испорчено почти невероятным событием.

Во время осмотра к нему подошел Протасов – один из обитателей большого двора. Уставшись на доктора так, будто он выпил сулемы вместо воды, Протасов сказал:

– Сергей Павлович, несчастье... Такой случай... И скажите на милость...

Доктор Туркеев умолк и сверкнул на Протасова очками.

– Ты чего хочешь?

– Да Строганов – там у себя...

– Что Строганов?

– Повесился Строганов, Сергей Павлович... Ну что вы скажете – такая беда!

– Вот тебе раз. Да ты, батенька, кажется вздор несешь... Как это так?

Среди больных кто-то ахнул. Доктор тяжело уронил свою бороду на халат.

Веселость будто сняло рукой. Он озабоченно протер очки, потом снова принялся выслушивать больного, но не дослушал и передал стетоскоп лекпому Томилину.

– Нуте-ка, займитесь вы. – И вышел.

«Ну да, ну да, – твердил он сам себе, спеша на больной двор. – Как же иначе? Ясно. Реалист. Не верил в выздоровление. За тридцать лет ни одного самоубийства, и вот – пожалуйста».

...Строганов висел на веревке, и лицо его было странно спокойным, будто заснул он в петле. На столе горела керосиновая лампа, зажженная еще его рукой. Около лампы лежала клеенчатая тетрадь.

Доктор Туркеев остановился на пороге, взглянул на самоубийцу и покачал головой. Потом подошел к трупам, пощупал пульс и вдруг, повернувшись к Протасову, гневно закричал:

– Прежде всего ясность: в чем дело? Зачем он сделал это?

Не получив ответа, он шагнул к столу, взял тетрадь и, открыв дрожащими руками обложку, прочел на первом листе:

«Доктору Сергею Павловичу Туркееву – врачу и человеку».

– Вот тебе н-на!

Он перевел взгляд на мертвого, будто спрашивая его – что означает сия надпись, и снял очки. Протирал он их долго, со всей тщательностью, хотя в том не было никакой надобности. Потом сказал Протасову:

– Пойдите, зовите людей. Надо же его снять. – И, обратившись к Строганову, тихо произнес:

– С чего это ты, батенька? Ай-яй-яй...

Доктор только сейчас вспомнил, как недели две назад приходил к нему Строганов. О чем он просил? Ах, да... Как глупо. «Чудак, ненормальный, – думал Сергей Павлович, стоя у стола и рассматривая висящего покойника. – Как глупо. Больше того, это, батенька, просто возмутительно. Безволие. Слабость...»

Люди пришли и начали снимать тело.

Доктор Туркеев пошел к выходу и в дверях столкнулся с Лидией Петровной.

– Мы нынче, батенька, не поедem в город, – сказал он сурово, не глядя на нее.

Между заведующим лепрозорием, стоящим сейчас в дверях, и утренним Сергеем Павловичем не было ничего общего.

3. О чем мог писать человек с «львиным лицом»

Доктор Туркеев уселся поудобнее и придвинул поближе к себе лампу.

«Мне кажется все это чрезвычайно странным, – так начинался дневник, – вот я очутился в маленькой светлой комнате, из окна которой видна такая ровная, такая хорошая степь и дальний курган...

Странно: как будто бы ничего не произошло. Вот и стол придвинут к стене, как был он придвинут в моей комнате, там, в селе, в школе, где остались мои ребята. И койка почти такая же... Обстановка как будто ничего не говорит о чудовищном изменении в моей жизни. И только зеркальце всякий раз, как я замечу его, возвращает меня к действительности. Шесть лет здесь жил Карташев, а потом ушел. Выздоровел... Выздоровел ли? Доктор Туркеев говорит: это – неправда. Карташев вовсе не выздоровел. Она лишь притаилась у него. Через пять лет она может вернуться. У него взяли письменное обязательство – являться каждые три месяца на освидетельствование к ближайшему врачу. Карташев – мышь, попавшая в зубы кота и думающая, что она еще может спастись.

Предположим, если со мной произойдет такой же курьез, значит, с меня возьмут подобную расписку? Нет, я этого не хочу. Я не желаю быть мышью...

Если существовал Христос и на самом деле нес бремя креста, он был счастливее прокаженного, ибо знал, что скоро последует смерть. Если каторжанин несет бремя каторги, он знает – оно не вечно, а я моему бремени не вижу конца. Если верить доктору Туркееву, я могу протащить свою проказу через весь срок положенной мне жизни и затем умереть от малярии. Какая дикая логика!..

Здесь жил человек, который вылечился. Не странно ли? Иногда этот случай пробуждал во мне надежду. Потом я издевался над ней разве может она осуществиться?... Конечно, нет. Иначе от Карташева не потребовали бы расписки! Но ведь он ушел, значит, поверил... И сейчас он – там, среди здоровых людей, здоровый человек... Даже зеркальце оставил – чудак!

Не знаю почему, но в первое мгновение оно произвело на меня странное впечатление: будто Карташев оставил мне в наследство свою проказу. Я не снял зеркальца и не выбросил его. Я подошел к нему, протер стекло и всмотрелся в отражение. Оттуда глядело обросшее щетиной нелепое лицо – без бровей, без ресниц. Боже мой, что это за лицо. Оно принадлежало мне, Строганову, оно было еще мое. А дальше? Дальше на месте нынешних пятен появятся язвы, и лица, может быть, вовсе не станет, его сменит непозволительная рожа зверя – „львиное лицо“, как говорят врачи. Живое тело начинает гнить и расползаться... В тот день я долго сидел на койке и смотрел в осколок стекла, висевший на стене. Вот оно, последнее убежище, последняя моя пристань! Бровей уже нет, ресниц тоже. И разве я рано или поздно не буду похож на самых страшных из тех, кто живет здесь?

Теперь я понимаю прокаженных в Индии, которые умоляли власти заживо похоронить их. Власти исполняли просьбу прокаженных. Это был акт величайшего человеческого благодеяния.

И впрямь, во имя чего лечат прокаженных? Чтобы снова и снова убедиться в бесполезности лечения? Нелепость! Нелепость!

Так думал я в тот день, сидя на койке, и, когда снова заметил зеркальце, оно опять вернуло мне волю к жизни. Нет, умирать еще рано, подумал я, и ведь неспроста выстроен этот лепрозорий. Я вспомнил о человеке, ушедшем отсюда здоровым, и тогда случай в Индии с заживо погребенными показался мне величайшей глупостью. Врачи обещают. Но разве можно верить обещаниям врачей? Я подошел опять к зеркальцу и долго рассматривал свое лицо. Оно было бронзовое от загара, его бороздили морщины, а на лбу – два темных пятна, оставшихся

будто от жирной, не совсем смытой сажи. Значит, это верно: я прокаженный? Неужели она бросилась уже на лицо? Я принялся тереть лоб. Пятна не сходили. Тогда, чтобы проверить окончательно, я зажег папироску, и в этот момент зеркальце отразило еще одно лицо.

На пороге стоял человек.

– С новосельем вас!

Что это было – глупость или простота? Разве принято в таком месте поздравлять с новосельем? Лицо у человека было неподвижно. Его глаза были похожи на мутный жидкий холодец, и в глубине холодца покоилась тупая, давняя тоска.

Я предложил ему сесть.

Человек спросил:

– Вы откуда же будете?

Я не хотел ему отвечать. Я инстинктивно отошел от него в другой угол и тут вспомнил: ведь я – такой же. Отныне мы будем вместе жить и, как колодники, прикованные к одной тачке, повезем нашу болезнь вместе до конца...

– Так вы, значит, из Ковыльевки... Бывал там, бывал давно... лет пятнадцать назад... Ну, как там?

– Что „как“? Где „там“?

Человек заморгал, открыл рот, хотел что-то сказать, но не знал, по-видимому, о чем говорить, и я понял тогда: ему просто хотелось поговорить со свежим, прибывшим с „воли“ человеком, поговорить не „по-прокаженному“, а „по-человечески“, узнать, как живут люди, какие дела происходят на белом свете. Но он не мог подобрать ни одного слова, ни одного ясного вопроса, кроме этого вот „как там?“. И я начал рассказывать. Боже мой, как это трудно! Я говорил не много, и человек ловил каждое мое слово так, как ловит рыба, выброшенная на берег, воздух.

– Так... так... Вот оно что... А не слышали ли вы чего-нибудь нового насчет „этого“?

Он тупо уставился на меня и стал похож на голодную собаку, смотрящую в глаза человека, который ест мясо.

– Это насчет чего?

– Ну, да насчет того...

– Урожая?

– Нет, насчет этой самой... лепры. Ничего не слышно? Говорят, будто есть против нее средство, которое как рукой сымает.

– Ничего я не слышал.

– Ничего!

Человек огорчился и двинулся на табурете.

– А разве кто-нибудь говорил о таком средстве?

– Болтают тут, да кто его поймет! Говорят вон, будто Туркеев наш такое средство готовит. Никак, уже пять лет работает и как есть теперь к самому концу подходит. Остается ему только листик какой-то найти, и готово... В секрете держит. Да листик-то, говорят, далеко растет, будто – в Китае. Ну, разве тут поймешь? Все болтают, а чему верить – не знаешь. Только сдастся мне, тогда бы по громкоговорителю известили, а громкоговоритель на этот счет молчит... каждый вечер молчит...

Мне стало страшно. Перед моими глазами носился еще „тот“ мир, я видел его, ощущал его, считал еще своим. Я чувствовал биение его жизни – и вдруг понял: крышка захлопнулась наглухо, навсегда, выхода нет, меня не выпустит лепра из-под своей крышки, и через некоторое время я, так же как и этот человек, буду спрашивать у вновь приезжающих прокаженных – „как там“, и тоже буду изнывать в жажде услышать о самом нужном для меня, самом ценном и значительном – „о средстве“ против лепры.

Иногда я забывал – кто я и где нахожусь. Мне казалось, будто я еще „там“, среди „тех“, и поэтому мне становилось жутко, когда я встречал призраки с лицами львов, с глазами, в которых так много тупой боли и тоски и которые похожи на холодец. Но потом я вспоминал самого себя... Так происходило часто.

Помню – в такие моменты я лежал неподвижно на своем матрасе, устремив глаза куда-то в одну точку, на потолок, где сидела одинокая муха. Она тоже прокаженная? Я начинал с этого момента думать о том, как могло произойти все это? Где лежит начало пути, приведшего меня сюда? Когда свершился этот момент? Почему я не избежал его?

Перед моими глазами прошла вся моя жизнь. Да, впервые, я увидел проказу восемнадцать лет тому назад, когда был двенадцатилетним ребенком. В тот день я попал к базарным весам, на которых мужики взвешивали сено. Вдруг весовщик бросил на землю двухпудовую гирию и, посмотрев куда-то в сторону, крикнул тревожно:

– Проходите, проходите отсюда! Подальше!

Мужики тоже загалдели, и один из них громче всех остальных угрожающе бросил:

– Чего тут шляетесь, идола! Только сразу разносите... Проходите.

В их глазах таилась не то злоба, не то ужас, – я не мог тогда понять смысл криков, но мне передан страх весовщика и мужиков. Я начал шарить глазами по улице и вот что увидел: по пыльной дороге шли два человека. Они ничем не отличались от других, только лица казались странно неподвижными и как будто припухшими. Они шли молча, беспомощно оглядываясь по сторонам, в глазах их металась испуг, покорность, недоумение. Потом они на мгновение остановились, огляделись и нерешительно попятнулись назад, двинувшись в другую сторону дороги. Но и там на них закричали. Тогда они окончательно остановились, по-видимому не зная, что делать. Так как крики продолжались, они вдруг тяжело побежали вперед, поднимая густую дорожную пыль.

– Прокаженные, – сказал весовщик, – носит их тут дьявол. – Он покривился и сплюнул.

Прокаженные... Тогда я не знал еще смысла слова „проказа“ и не понимал всей глубины его содержания, я чувствовал только одно: в этом слове скрывается нечто беспредельно темное и в то же время грозное. Прокаженные...

Я пришел домой и выбросил рубаху в помойную яму, пожалев, однако, расправиться таким же образом со штанами, ибо штаны были новые.

Этот эпизод из далекого детства ворвался теперь в мое сознание неожиданно, и мой детский страх показался мне смешным после того, как спустя много лет мне пришлось измерить расстояния знойной Бухары, гор Афганской границы, Прикаспийской пустыни, где прокаженных не меньше, чем контрабандистов.

Но все-таки где могло произойти это? При каких обстоятельствах?

Я мучительно напрягал память. Вот Красноводск. Бухара. Ташкент. Я видел таких людей в чайхане, где курят они анашу, встречал на базарах, торгующих сладостями и холодной водой. Люди эти чувствуют себя так же прекрасно, как и те, кто покупает у них сласти. Значит, дело не в самой проказе, а, по-видимому, в степени развития нашего сознания? Червь может не заметить обрушившейся на него лавины земли, но слона эта лавина раздавит. Суть, значит, в том, кто и как воспринимает бедствие или как умеет к нему приспособиться, а вовсе не в самом бедствии. Но все-таки, когда произошло это? Может быть, в ту ночь, когда буран застал нас в Астраханской степи и мне пришлось ночевать в калмыцкой кибитке? Это был девятнадцатый год... Мы шли на деникинский фронт. У калмыка было лицо, усеянное подозрительными пятнами. Да-да. Не там ли начался путь, приведший меня через шесть лет сюда, в эту комнату с трагическим зеркальцем? Шесть лет. Впрочем, говорят, что лепра может таиться в человеке десятки лет и затем вдруг поразить его.

Больше того: можно проносить ее в себе всю жизнь и никогда не узнать об этом. Все-таки я не верил, чтобы болезнь могла „прилепиться“ в Красноводске, Ташкенте, Бухаре или

в горах Афганистана, или, наконец, в той кибитке. Там не могло этого быть. Это категорически опровергает какой-то внутренний следователь, который бьется сейчас над разрешением задачи: „где и когда“?

Есть тысячи предположений об обстоятельствах заражения, но из всех тысяч нет ни одного достаточно вероятного. Ясно только одно: у меня – не „потомственное“ заражение. Ибо, как ни напрягается моя память, она не находит ни одного прокаженного среди моих близких родных. Значит – она не наследственная, и заразился я не от домашних. Так где же? Где? Тщетно внутренний следователь мой допрашивал и освещал прошлое, цеплялся за каждый найденный памятью эпизод и искал в нем хоть какой-нибудь намек на проказу.

Он медленно шел по пути сделанных мною походов... И вот однажды мой следователь закрыл глаза и умолк. Он нашел. Не надо больше копаться в мучительном хаосе воспоминаний. Теперь все ясно, все понятно, до мельчайших подробностей.

...Солнечный день... Дорога... Штаб погранотряда. Маленький пограничный городок. Женщины закутаны в чадры, ленивые движения улиц, густые краски юга.

Снова дорога... Ущелья, лес, скалы. И наконец пост, которым надлежит мне командовать.

Он расположен на вершине горы, которую в местечке называли „Головой Разбойника“. Отсюда открывалась панорама на сотни верст вокруг. Вдали, в тумане, виднелось местечко, и его строения были похожи на камешки, рассыпанные по траве. В стороне лежали темные, тяжелые горы. Наши глаза – глаза погранпоста – должны были быть устремлены на юг, в сторону Персии.

Оттуда сочилась контрабанда: духи, сводившие с ума бакинских и тифлисских женщин, чулки, коверкот, шевиот – одним словом, товар, который в одну ночь может сделать богачей нищими и нищих – богачами.

Пост, на который я прибыл, состоял из восьми человек, трех лошадей и четырех русских овчарок – зверей лютых, неумолимых, знавших во всем мире только этих восьмерых человек, а впоследствии еще и меня. Пост начинал подлинную работу только осенью, ибо чем темнее ночи, чем больше свирепствует распутица, тем благоприятнее становятся для контрабанды непроходимые горные пути, тем решительнее пробивается она сквозь дождь и кордоны, сквозь горы и караулящий ее на пути ружейный огонь.

Помню одну такую ночь. Ливень свирепо обрушился на горы. Дороги к отряду оказались размытыми, связь с человеческим миром потеряна. При свете керосиновой лампы я читал газету, давно выученную наизусть. Рядом, у ног, неведомо отчего, сокрушенно вздыхал Осман. Изредка, вероятно со скуки, он принимался щелкать блох на своем косматом пузе. Все его товарищи работали где-то под ливнем. Вдруг обвисшие уши Османа поднялись, в налитых кровью глазах загорелась тревога. Он подавил вздох, оставил в покое блох и поднял голову.

– Что, Осман?

Собака взвизгнула.

Я прислушался. За стенами бушевал ливень. Осман рвался из дому. Тогда я встал, надел плащ и взял винтовку. Мы вышли. Собака на мгновение остановилась, определяя направление, и вдруг бросилась во тьму, в сторону одного из часовых. Вскоре я услышал далекий собачий лай и понял: „рыба“ где-то близко. Собаки по-пустому никогда не лают. Я ускорил шаг: Осман, видимо, был огорчен моей медлительностью. Часового на обычном месте не оказалось. Я хотел идти туда, куда настойчиво вел Осман, но в этот момент собака залаяла тревожно и злобно. Раздался выстрел. Потом еще один и – еще.

Осман рванулся вперед. Ломая кусты, я бросился за ним.

– Стой! – закричал кто-то из темноты.

– Не стреляй! – крикнул я. – В чем дело?

– Рыба идет, – сказал часовой, – большая рыба. Мы умолкли. Собаки надрывались. Контрабанда шла где-то совсем близко, – слышались даже голоса.

Тогда мы поползли за собаками. Впереди что-то хрустнуло, крякнуло, упало. Совсем близко со скалы сорвались камни и полетели на нас.

Тогда Крепкин, часовой, завопил:

– Стой, стрелять буду! Сто-о-ой!

Он ожесточенно щелкнул затвором винтовки. Собаки завыли во весь голос.

Откуда-то из темноты полыхнула струйка огонька, за ней – другая, третья.

Крепкин выругался тяжелым, мрачным ругательством и выстрелил в темноту. По Крепкину полыхнул залп. Собаки, как пьяные, носились вокруг и выли. Выстрелы прекратились на заре. Враг отступил...

Я и Крепкин пошли кустами, хлюпая в лужах. Наконец выбрались на поляну.

Здесь я увидел околевающего ишака с тюком на спине. Сопровождавшие нас собаки почему-то рычали на него. Я подошел ближе и услышал стон. Рядом с ишаком лежал в воде перс, а возле него – обрез и пустые гильзы. Перс был ранен, пуля пробила ему плечо и задела голову. Он обернулся ко мне, и я увидел на его лице острую ненависть.

– Мой бильмирам... – сказал он на ломаном русском языке, – мой не понимай твой.

– Не понимаешь... – протянул Крепкин, – а контрабанда понимаешь?

– Мал – мала товар пришел... Ей-бох.

– А обрез – тоже товар пошел? – Крепкин сплюнул.

Контрабандист и мертвый ишак с ношей были доставлены на пост. К вечеру ишака отдали собакам, а из шкуры сделали постель для раненого контрабандиста. Ливень продолжался, дороги были окончательно размыты, и связь с погранотрядом могла восстановиться не раньше чем через месяц.

Контрабандист был отдан на попечение Крепкина, который с материнской заботливостью промывал и бинтовал ему раны, читая при этом нравоучения.

– Понесло ж тебя, идиота, с этой контрабандой. И зачем ты только пошел, подлюга? Вон ишака загнал, товар потерял, и жизнь, может быть, потеряешь... Нешуточное дело, брат, стрелять в часовых... Эх ты, Кули, Кули...

Кули жалобно стонал и просил курить. Он жаловался Крепкину на тяжелые времена. Дома у него была жена. Она умрет теперь с голоду... Его мечта – стать богатым – не осуществилась.

– Эх ты, голова... – смеялся Крепкин, сворачивая для перса „козью ножку“, – ты не о богатстве думай, а о жизни. Тебя судить будут. Ведь ты с оружием шел. Знаешь, что такое с оружием в руках?

Красноармейцы давали ему мясо, хлеб, чай, а когда мясо кончилось – предлагали вареное мясо дикого кабана. Но Кули крутил головой и говорил:

– Свинья – дунгуз, свинья – поганая.

– Сам ты поганый, сукин сын, – ругались красноармейцы.

Но Крепкин останавливал их, так как считал, что только он один имеет право ругать перса.

Кули лежал на одних нарах с красноармейцами, и тяжелый запах, который шел от него, вызывал у некоторых тошноту. Красноармейцы ругались, и только Крепкин старался больше курить и держать двери открытыми. Запах все-таки шел, и в конце концов даже Крепкин стал соглашаться с товарищами, что от перса действительно сильно несет. Тогда он вдруг понял, что ему давно надоело ухаживать за персом и что сам он осточертел ему не меньше, чем его вонь. Заботы о пленном перешли ко мне. Я должен был сохранить его для следствия и доставить преступника в местечко.

Два раза в неделю я промывал его раны, бинтовал марлей и, как мог, ободрял перса. Перс стонал, призывал в помощь аллаха и просил махорки.

Однажды, перевязывая ему плечо, я заметил у него на груди язвы, зловещие темно-красные язвы с фиолетовыми краями.

– Что это у тебя, Кули? А?

Он пожал здоровым плечом и ничего не сказал. Я раздел его всего и увидел такие же язвы на спине и руках. Долго пытался я определить болезнь, но, конечно, безуспешно. Так и отправили его в город.

И вот сейчас мне стало все ясно. Эти две язвы, открывшиеся у меня на груди, – язвы контрабандиста Кули. Это – его проказа. И лицо у него было такое странное, припухшее. Но почему все это стало ясно только теперь, а не тогда, на посту? Почему никому не пришла в голову мысль об осторожности?

Теперь я – прокаженный, я – в лепрозории. Меня лечат, как всех: в кровь вводят генокардиево масло, применяют цианистый калий и еще десятки каких-то препаратов. Иногда достигаются результаты: темные пятна начинают проясняться – и это вызывает у меня прилив надежды. Мне кажется, будто в лепрозории я нахожусь по недоразумению; все скоро выяснится, и темному ужасу придет конец. Снова я уеду к себе в Ковыльевку, и все дороги мира вновь станут для меня свободными. Но пятна, исчезая с одного участка тела, переселяются на другой. Препараты оказываются беспомощными в борьбе с болезнью, и снова закрываются передо мной пути, ведущие в мир. Я опять заживо зарытый в могилу.

Доктор Туркеев делает все возможное, чтобы препараты, рекомендуемые наукой, не лежали в бездействии на аптекарских полках. Как истинный представитель науки, он хранит спокойствие, когда палочки Ганзена слабо или вовсе не реагируют на действие медикаментов. В таких случаях Туркеев делает перерыв и обдумывает новые комбинации лечения. После каждого нового опыта он внимательно осматривает меня, не зная или не желая знать, что все его опыты – ложь. Однажды я спросил у него:

– Ну как, товарищ доктор? Чем вы меня утешите?

Туркеев отвел лицо в сторону и ответил:

– Пока ничем. Это делается, батенька, не сразу... Все проходит... Пройдет и это. Надо научиться терпеть.

Однажды мне показалось, будто я выздоравливаю. Две язвы, мучившие меня до поступления в лепрозорий, зарубцевались. В безумной радости я бросился к доктору. Как был я глуп в ту минуту! Туркеев долго и молча ощупывал мою спину, грудь, руки, выслушивал сердце, легкие, потом также молча отошел и стал рассматривать меня на расстоянии. Наконец я не выдержал:

– Доктор, почему вы молчите?

– Трудно пока сказать что-нибудь определенное, – ответил он с раздумьем, – понаблюдаем еще. Предугадывать не берусь.

А через две недели пятна на моем теле стали багроветь и наливаться. Еще через две недели они открылись на четырех участках тела. Я слег в постель.

Пути в тот мир снова закрылись. Когда спустя восемь недель у меня начали зарубцовываться язвы и я мог вставать, меня снова потянуло к зеркалу. Мне захотелось следить за изменениями лица. Оно осунулось и пожелтело за пятьдесят дней горения язв. Каждый день я ожидал, что она перекинется на лицо и не оставит на нем ничего, напоминающего о прежнем Строганове. Но движение ее приостановилось у самой шеи. Лепра начала „улавать“. Она словно израсходовала свою энергию во время пароксизма. „Да, лицо пока спасено, – думал я, – но если приступ повторится, тогда – конец“.

С этого момента я больше никогда и никого не спрашивал о своем выздоровлении. Я понял, вера в это бесплодна и нелепа, как вера в милость палача.

Чем дальше текла моя болезнь, тем все больше и сильнее охватывало меня странное чувство злобы и ненависти ко всему окружающему. Я был похож на смертельно раненного зверя,

царапающего землю когтями. Я ненавидел. Кого? Не знаю. Каждый день я чувствовал рост этой ненависти, и внутренний голос говорил мне: „Ты прав: они вычеркнули тебя из жизни, и за это ты платишь им по заслугам“.

Ведь, собственно, все оставшиеся в том мире и живущие здесь, на здоровом дворе, конечно, жалеют меня, но они все-таки боятся меня, они смотрят на меня, как на зверя, хотя, быть может, они и правы, посадив меня в железную клетку, названную больным двором. Если бы от меня потребовали более ясного изложения причин моей ненависти – я не смог бы этого сделать. Я знаю только одно: меня все боятся, все опасаются, на меня смотрят, как на зверя, я должен стоять в пяти шагах от здорового человека и не имею права стать ближе... Они здоровые, я – прокаженный, и, как бы ни были они великодушны ко мне, они все-таки боятся меня! Боятся!

Так вот: нужно ли мне мое существование? И нужно ли оно им? Нет. Я – никому не нужное, отвратительное, опасное бремя... Я – бремя для всего человечества! Пусть попытаются доказать обратное!

К этой мысли я начал приходить ошущью, постепенно и скоро окончательно убедился в том, что жить мне не следует. Я только обременяю здоровых людей и потому ненавижу их. Я сам себе мерзок. И чем скорее я порву паутину, связывающую меня с этим миром, тем лучше.

Я предложил доктору Туркееву использовать меня для опытов. Я дарил ему свою жизнь. С нею он мог делать все, что ему угодно. Но доктор Туркеев отклонил мое предложение.

Вот и вся история моей проказы. Уходя отсюда, я уношу с собой убеждение в совершенной бесполезности жизни прокаженных и существования лепрозориев.

Для чего? Ученые, если до них дойдет мой дневник, жестоко осудят мой взгляд, но они слепые... и слишком наивные люди...

Вот и конец. Вот и легче вдруг стало, и даже как-то радостно. Ведь скоро я освобожусь от нее, скоро снова буду таким же, как и все, и земля примет меня так же радушно, как и тех, кто не был никогда прокаженными...»

На этом дневник обрывался. Доктор Туркеев долго сидел над ним и думал.

Потом встал. Бережно положил тетрадь в ящик письменного стола и замкнул его на ключ.

Строганова похоронили. У могилы доктор Туркеев произнес речь. Наклонив голову, он долго протирал свои очки, долго надевал их, наконец поднял лицо.

Перед ним жались друг к другу прокаженные, безмолвные и недвижные, как призраки, затаившие в себе тоску и надежду.

– Так вот, батеньки, – так начал Туркеев свою речь, – а проказу-то мы все-таки победим!

Он видел, как лица вокруг него с каждым словом светлеют, взгляды становятся легче. Он говорил им о том, что ни один прокаженный не должен терять надежды.

Ветер нес куда-то в степь, в чистоту летнего вечера обрывки речи, сворачивая набок острую бородку доктору, и путал на его голове жидкие, седеющие волосы...

4. Прокаженный изучает природу

В комнату, которую занимал Строганов, на следующее после похорон утро перебрался Василий Петрович Протасов, прозванный в лепрозории «батюшкой».

Звали его так потому, что лет двенадцать тому назад он впервые появился на дворе одетый в рясу, и больные подумали, будто к кому-то из них приехал священник. Впоследствии оказалось, что он тоже был прокаженный. Вскоре Протасов снял рясу и остриг волосы, но в поселке его продолжали называть «батюшкой» и даже приглашали совершать требы. Протасов не отказывался. Он всегда охотно и безвозмездно служил молебны, крестил детей, венчал, словом, выполнял в лепрозории все церковные обрядности. Однако потребность в них в лепрозории была очень невелика и не могла заполнить всего свободного времени, которым располагал Протасов. Вероятно, поэтому ему в голову пришла странная мысль – изучать проказу. Он попросил предшественника доктора Туркеева показать ему «палочки Ганзена». У Протасова взяли срезы, и через два дня он впервые видел «свою лепру», увеличенную в несколько сот раз. На маленьком квадратном стеклышке Василий Петрович увидел пятнышко, и доктор сказал ему, что в нем, в этом пятнышке, – гнездо проказы, семья палочек Ганзена, тех самых, которые привели сюда Василия Петровича.

Он долго смотрел в микроскоп, в котором рефлектор отразил гнездо с лежащими в нем аккуратно сложенными «сигарами».

Сила этих маленьких чудовищ оставалась и после открытия их все такой же могущественной и непобедимой. Наконец Василий Петрович вздохнул и отошел от микроскопа.

С тех пор «батюшка» никогда больше не подходил к нему, но с каким-то неутомимым упрямством принялся изучать историю лепры. Он прочитал всю литературу, которая имелась в лепрозории, расспрашивал больных, фельдшеров, производил какие-то свои наблюдения и верил, что средство против лепры совсем простое и находится под руками у человека. У него даже сложилось странное убеждение: средство это будет открыто не врачами, не учеными, а случайно, и непременно прокаженным.

Проказа казалась Протасову болезнью, в сущности говоря, пустячной, во всяком случае менее серьезной, чем туберкулез или, например, сифилис. Столь длительную задержку открытия средств против нее он объяснял просто: лепрозные больные встречаются все реже и реже, они постепенно вымирают, вырождаются, – кому интересно заниматься такими открытиями? Если бы прокаженные почаще беспокоили тех, кто живет отсюда за десятки и сотни верст, то общество принялось бы энергичнее за искоренение этого бича человеческого.

Протасов язв не знал. Болезнь протекала у него вяло. Она выявилась в узлах, исказивших только лицо и сделавших его похожим на львиное. Эти узлы особенного беспокойства не приносили.

За изучение проказы он взялся решительно. С какой-то молчаливой страстностью Протасов производил таинственные, только ему одному известные наблюдения над больными и был глубоко убежден в их громадном значении для науки.

Его особенно волновали двое прокаженных, пятнадцать лет назад покинувшие лепрозорий ввиду полного своего выздоровления. Как это могло случиться? Ведь их лечили теми же средствами, как и всех. Почему же выздоровели только они?

Протасов упорно пытался найти ответ на этот вопрос. Однако все попытки его найти ответ были тщетны. Старожилы ничего не знали, а хранящиеся в делах лепрозория личные листы выздоровевших говорили лишь о температуре, названиях перенесенных болезней, назначенных лекарствах, одним словом, о том, что для Протасова казалось малозначительным и слишком обобщенным.

Его интересовали сотни вопросов, связанных с условиями, в которых жили исцелившиеся прокаженные. В своих исследованиях он доходил до того, что пытался установить – сколько шагов они делали в сутки, сколько дыханий производили в минуту, какое количество воды потребляли ежедневно, в какое время и сколько раз в сутки они ели, как реагировали на боли, каково было их моральное состояние и т. д., и т. п.

Всю эту сложную и кропотливую работу Протасов производил, как он сам объяснял, исключительно для «собственного удовольствия». Под его наблюдение попадали решительно все больные. О каждом он знал столько, сколько не знал о самом себе сам объект наблюдения. В специальной тетради он вел такие записи:

«Феклушка.

После десяти дней непрерывного лежания на койке вышла на крылечко и сидела около двух часов на скамье. Лицо у нее было добродушное. Мне сказала, что „оправилась“. Ест борщ, сваренный на мясе, начала есть репу, говорит, что от репы у нее прояснилось в голове. Снов никаких не видит. Думает о разном. Болезнь беспокоит. Ждет дочь, но дочь не едет. Жалуется на тоску.

Хочет ходить, но быстро устает. Воды выпивает три-четыре бутылки. Радуетя солнцу».

Ему хотелось быть свидетелем выздоровления хотя бы одного больного. Но за двенадцать лет пребывания в лепрозории выздоровел только один Карташев, которого, впрочем, он не считал выздоровевшим и который как-то случайно остался вне поля наблюдений Протасова. Этот пробел в его работе являлся несомненным упущением. Протасов досадовал на себя и с еще большей настойчивостью продолжал свои исследования, будучи глубоко убежденным в правильности и необходимости своих трудов. Днем он подолгу расспрашивал больных, ночью же суммировал свои наблюдения и писал. Впрочем, эти писания он тщательно скрывал от всех, особенно от врачей. Единственно, кому он читал отрывки из своих «сочинений» и кто слушал его всегда с терпеливым добродушием, – это Кравцов. Они сходились обычно ночью, когда весь поселок давным-давно спал.

– Да-с, палочки Ганзена, – обычно начинал Протасов, – загадочные палочки... Такие маленькие, но сколько людей они сожрали, и каких людей! Могущественные фараоны, жены царей – никто не мог спастись от них, никто.

И он рассказывал все наиболее страшное, наиболее удивительное, что знал о проказе. Он называл ее «адом, изрыгнутым на землю преисподней».

Когда завязывался разговор о проказе, Василий Петрович будто сам созерцал то, что проделала она в тысячелетиях. Вот миллионы истребленных ею людей: философы, мудрецы, властители и рабы, владельцы сокровищ и нищие.

Когда она торжествует, различия исчезают. Вот проказа диктует законы о беспощадном расторжении браков. Вот гонит из общества лучших людей, кастрирует их, заставляет здоровое общество сжигать, заточать прокаженных на необитаемые острова, ставит их к позорным столбам, как самых отъявленных преступников.

Где ее начало? На берегах Нила, Евфрата, Тигра, Инда, Ганга? В Китае? В Америке? Ее начало везде и нигде. Она победным маршем прошла через весь мир и оставила след на всех народах – темный, таинственный след. «Цараат»... – так называли проказу древние евреи, которых вел из Египта в Палестину Моисей, впервые обнаруживший ее где-то в Аравийской пустыне. «Страх и наваждение всех зол». Даже он – этот могучий титан мысли – дрогнул перед ее силой. «У кого покажется на коже опухоль, или лишай, или пятно, и на коже тела сделаются как бы язвы, тогда привести этого человека к Аарону священнику, или к одному из сынов его

– священникам, и священники, осмотрев его, должны объявить нечистым и прогнать прочь от людей». Таков был закон Моисея.

Многое изменилось и погибло в истории тысячелетий: народы, материки...

Уходили в землю некогда могущественные города, пересыхали реки, отходили к океанам моря, забывались некогда могущественные государства, но Цараат пережила всех и все: она проделала путь от зари человеческого сознания – до наших дней и осталась непобедимой.

Она шла с армиями Дария Гистаспа, Ксеркса, Помпея, шла по тысячеверстным дорогам вместе с ватагами крестоносцев, вестготов, свевов, англо-саксов, с ордами гуннов и вандалов. Могущественные армии оказывались побежденными и погибали, но Цараат продолжает жить.

«Нет ничего нелепее этой болезни, – писал в своей тетради Протасов, – здоровые мужья, живущие с прокаженными женами, остаются здоровыми, и наоборот – известны случаи, когда через жен прокаженные мужья передавали проказу их любовникам, сами же жены оставались здоровыми. В 1884 году доктор Даниэльсон привил проказу себе и трем больничным служителям. Прививка результата не дала, заражения не последовало. Через два года он повторил опыт и снова не достиг цели: проказа не привилась. В 1888 году он произвел прививку себе и двадцати служащим больницы, и опять – безрезультатно. В начале девяностых годов доктор Арнинг по поручению гавайского правительства приступил к опытам над преступником Кеаном, приговоренным за тяжкое преступление к смертной казни. Он бился над ним целых два года, впуская ему под кожу чуть ли не через каждые два месяца новые и новые миллионы палочек Ганзена, и все-таки Кеан остался здоровым. Он разочаровал и гавайское правительство, и ученого. Арнинг вынужден был отказаться от услуг Кеана. В то же время история помнит случаи, когда человек, пробывший всего несколько часов в одном помещении с прокаженными, заболел проказой. По-видимому, тайна – в степени невосприимчивости организма к данной болезни, тайна – в обстановке и условиях, окружающих жизнь и работу этого человеческого организма. На острове Молокаи, населенном прокаженными, заболело семь врачей из числа обслуживающего персонала. Но почему жены, дети и близкие самих больных – реже всего подвергаются заражению?»

Эти соображения и приводили Протасова к выводу: для победы над проказой следует тщательно изучать условия, в которых живут прокаженные.

Заканчивая чтение, он отодвигал в сторону тетрадь и пристально смотрел на Кравцова. Но тот молчал.

– А знаешь что, Власы Иванович, – говорил Протасов, – она – того... она будет покорена... Да... И это сделаем мы. – Он ударял себя в грудь. – Мы, а не те, кто живет там, на здоровом дворе.

Кравцов только улыбался, и Василий Петрович не мог понять: разделяет ли приятель его мнение или нет.

5. Картины Кравцова

В противоположность Протасову, любившему общение с людьми и склонному являться ни с того ни с сего ко всем «в гости», Кравцов был молчалив и замкнут. Взгляд у него был исподлобья, а улыбка неестественная, будто он не умел улыбаться.

Если у Протасова болезнь приняла форму, которую врачи называли легкой, то Кравцов перенес два пароксизма, лишивших его одной руки, исковеркавших спину и изменивших лицо до неузнаваемости.

К нему никто не приезжал, и Кравцов был доволен этим обстоятельством.

Он был как будто рад, что ему удалось окончательно порвать все нити с тем миром. Он, может быть, даже боялся восстановления этой связи. Кравцов никогда никому не рассказывал о своем прошлом. Во всяком случае, он избегал таких разговоров. Среди прокаженных ходили слухи, будто у Кравцова есть жена и дочь, которые бросили его еще до болезни.

В городе он имел когда-то живописную мастерскую. Он писал вывески и считался хорошим мастером. В одной из церквей до сего времени сохранилась его иконопись, изображающая Христа в различных вариантах. Вот все, что знали о нем в поселке.

Иногда Протасову удавалось вызвать его на откровенность, и тогда Кравцов возбуждался. Он говорил, будто проказа его не угнетает. Наоборот, он удовлетворен. Ремесло кончилось. Довольно мазни на вывесках и церковных стенах! Теперь он может рисовать не по заказу, а по желанию. Теперь его уже не тревожат «житейские скорпионы» и ему не надо зарабатывать на хлеб насущный. Теперь он может послать к чертовой матери всех, кто станет ему мешать. Он не хочет больше возвращаться туда. Он будет отныне работать не для желудка, а во имя искусства.

Действительно, Кравцов рисовал. Обитатели поселка видели его картины, удивлявшие своими ярко-голубыми красками и обилием света. Это были пейзажи, какие-то детские головки, небо без туч, поле в цветах. Но хотя он и стремился дать в своих творениях как можно больше солнца, тем не менее на всех картинах лежала печать какого-то неживого покоя. Яркие краски не оживляли их. В них отсутствовало биение жизни.

Свои работы он показывал неохотно, хотя все, кто видели картины, находили их прекрасными.

Один только Протасов не хвалил произведений своего друга. Он вообще молчал, стараясь не высказываться.

К тому же Кравцов был совершенно равнодушен к критике, и его не трогали никакие отзывы, будто речь шла о чьих-то чужих, не имеющих никакого к нему отношения работах.

– Все это – слишком светло. Ты бы вот насчет лепрозория что-нибудь намалевал... о прокаженных... – сказал ему однажды Протасов.

Но Кравцов смотрел на него безразличными глазами и ничего не отвечал.

Протасов решил больше не говорить с ним на эту тему.

Действительно, казалось странным: за несколько лет пребывания в лепрозории он закончил несколько десятков маленьких и больших картин, но среди них не было ни одной, которая имела хотя бы отдаленное отношение к прокаженным.

Он словно умышленно избегал этой темы, будто она была ему не под силу или он боялся ее; в своих ярких, солнечных красках он как будто пытался утопить мрак, тяготевший над поселком.

Впрочем, никто не знал, что у Кравцова хранятся картины совсем другого содержания.

В течение нескольких лет, ночь за ночью, Кравцов работал, и все яснее на этих никому не известных полотнах вырисовывались чьи-то мрачные лица.

Окруженные темным, каким-то таинственным фоном, они производили странное, тяжелое впечатление.

Если там, на светлых картинах, отсутствовала жизнь и сияющие лучи казались мертвыми, то здесь, с этих темных полотен, окутанных мраком, лилась жизнь: в них играло движение, они показывали высокую силу руки, создавшей их.

...Вдали, над горизонтом, белеет слабая полоска света, на которую давят неестественно темные тучи, такие неподвижные, будто созданы они из затвердевшего дыма. Кругом мрак. Маленькая полоска света едва освещает лицо человека. Глаза его глубоки и страшны. В них горит и жажда жизни, и тоска, они – зовущие, куда-то устремленные. Кажется, будто эти глаза затаили в себе судьбу всей человеческой жизни.

На другой картине изображался человек, идущий по грязной дороге. Позади него толпа людей. В их позах, в выражениях лиц – отвращение, угроза. При первом же взгляде на картину можно безошибочно сказать, что толпа прогоняет человека. Она боится, она сторонится его и стремится от него избавиться.

Чья-то рука поднята над толпой и сжимает камень, очевидно предназначенный для уходящего. Вот сейчас камень полетит и ударит ему в спину. Она очень выразительна, эта спина, такая скорбная, такая приниженная. В руке уходящего маленький узелок. Впереди, куда убегают тоскливая дорога, – мрак...

Обе картины были почти закончены, но художнику все казалось, что еще много в них недостатков. Кравцов продолжал работать над ними, стремясь добиться совершенства.

Он не нуждался ни в красках, ни в полотне. Он располагал деньгами. Несмотря на свою инвалидность, Кравцов работал в поле, и Пыхачев щедро платил ему. В кассе лепрозория на счету Кравцова лежала некоторая сумма денег, к которым, впрочем, он почти не прикасался. Он говорил: деньги ему не нужны, Пыхачев может обратить их, по своему усмотрению, на хозяйственные нужды лепрозория, так как, кроме материалов для рисования, ему не на что тратить заработок.

Быть может, сбережения лежали бы в неприкосновенности до самой смерти Кравцова, если бы однажды на имя директора лепрозория не пришло письмо от какой-то женщины. Она просила отсылать по указанному адресу деньги, зарабатываемые Кравцовым, если, конечно, на то последует согласие самого Кравцова... Впрочем, на этот счет у автора письма не было никаких сомнений.

Для получения согласия она считала вполне достаточным, чтобы Кравцову сообщили – кто пишет это письмо. Никаких доводов, разъясняющих основательность такой просьбы, в письме не приводилось.

Когда доктор Туркеев прочел его, он возмутился и хотел бросить письмо в корзину, но раздумал и вызвал Кравцова. Не говоря ни слова, Туркеев передал ему письмо. Как только Кравцов взглянул на почерк, лицо его, исковерканное язвами, дрогнуло, будто его ударили хлыстом. Он заморгал глазами и долго смотрел на подпись. Затем вернул письмо доктору Туркееву и спросил:

– Что она пишет?

– Батенька мой, – сказал Туркеев, – это письмо надо вам самому прочесть. Тут дело денежное, но сознаюсь, что удивлен. Я не знаю и не хочу знать чужие интимные дела, но мне кажется все-таки странным... От такого больного и вдруг какие-то деньги, как будто он открыл новый Клондайк...

Туркеев изложил Кравцову содержание письма и с любопытством взглянул на него. Тот развел руками и, не раздумывая, тут же дал согласие.

– Так, значит, посылать? – удивился доктор.

– Посылать, – тихо ответил Кравцов.

С тех пор причитающиеся Кравцову деньги Пыхачев отправлял по указанному в письме адресу.

Случай с письмом стал известен всему лепрозорию. Им тотчас заинтересовался Протасов, имевший в данном случае какие-то свои соображения и решивший, что тут открывается новая деталь для изучения характеристики если не всех прокаженных, то, по крайней мере, Кравцова.

В тот же день он явился к нему:

– Я знаю, в жизни есть вещи, о которых трудно и даже невозможно говорить. Ты извини меня. Но пойми: интересуюсь я не праздно. Я не сплетник, не баба. Я не сгораю от подлого любопытства – в этом ты можешь быть покоен, и поэтому я считаю, что могу спросить у тебя – кто эта женщина? Почему она требует от тебя деньги? Почему ты беспрекословно их отсылаешь? Почему к тебе никто никогда не приезжает? И где начало твоей болезни? Подожди, не отворачивай лица...

Кравцов исподлобья смотрел на Протасова и ничего не говорил.

– Хорошо, я не насилую тебя. Если не можешь – не надо. Но я ведь знаю: такую тяжесть, какую ты носишь в сердце своем, нельзя таить всю жизнь. Расскажи... Увидишь, как тебе сразу станет легко.

Кравцов продолжал молчать и словно откуда-то издали смотрел на Протасова. В конце концов тот перестал допытываться. Он был уверен: рано или поздно Кравцова прорвет и потянет на откровенность.

Человек – не камень.

Протасов был прав.

Это произошло случайно, спустя несколько месяцев.

Однажды ночью, мучимый бессонницей и головной болью, Протасов поднялся, надел свой халат и вышел во двор. Поселок спал. Кругом на много верст простиралась покой и молчание. Все огни на больном дворе были потушены.

Обитатели его спали, забыв о боли и прокаже. Ночное молчание изредка нарушал доносившийся из глубины степи детский плач шакалов. Василий Петрович прошел весь поселок и остановился перед последним домом. Здесь жил Кравцов. Но почему так поздно освещено его окно?

«Вот тебе н-на... Не спит, чего ж это он не спит?» – подумал Протасов и подошел к окну. Через занавешенное окно ничего нельзя было рассмотреть. Он подошел к двери и увидел свет, падавший из щели на темный пол открытого коридора. Дверь оказалась незапертой. Протасов нажал ручку и шагнул через порог.

... Прямо у стены стоял Кравцов и смотрел на Протасова глазами, в которых застыл ужас. Он что-то прошептал Протасову, но тот ничего не расслышал. Наконец, спустя некоторое время, до него донесся голос Кравцова:

– Ты зачем?.. Ты... как сюда пришел? Почему ты пришел?

Протасов всмотрелся в него и понял, что Кравцов пытался прикрыть своим телом какую-то висящую на стене картину.

– Экий ты чудак, будь ты неладен! Тьфу, как ты испугал меня.

– Зачем ты пришел сюда? – снова прошептал Кравцов, постепенно начиная приходить в себя. – Как... как ты попал сюда?

– Да ты впрямь ошалел... Почему я не могу приходить к тебе? Ты в тюрьме или в раю сидишь, что ли? Ну, брат, я не ожидал такого... Ей-ей...

Протасов решил уйти.

– Если у тебя, – сказал он, – действительно есть такое, чего нельзя знать другим, изволь, голубчик, – я уйду... Но зачем ты смотришь такими глазами? Ведь так ты насмерть напугать можешь... Ну, ты и шальной... Прямо – не узнать человека.

Он повернулся к двери и взялся за ручку и в тот же момент услышал голос Кравцова:
– Обожди, не уходи. Останься... Раз вошел – будь гостем... Пускай... Все равно.

Протасову показалось, что эти слова произнес не Кравцов, а кто-то другой, стоявший за стеной. Он остановился.

– Нет, брат, сегодня я не узнаю тебя. Или я одурел от бессонницы, или ты сумасшедший...
– Сядь и смотри, – перебил его Кравцов.

Первое, бросившееся в глаза Протасову на полотне, – была лампа, спокойным светом освещавшая нечто темное, едва заметное на полотне. Он подошел ближе, взгляделся в картину и снова отошел от нее к двери. Только тогда ему стал ясен сюжет.

Он долго молча смотрел на картину и не мог подобрать соответствующих слов.

Потом сказал:

– Так, брат, рисовал один голландский художник – Рембрандт. Гений. Такая глубина освещения, такие тени, такие мазки! Только один Рембрандт умел на таком фоне освещать так места, которые ему хотелось сильнее показать. Да, брат, я не знал... Ты умеешь рисовать... Но что это такое? Вот это лицо прокаженного – ясно. Но почему это? Что за необычайное действие? Разве такое может быть? А?

Он пристально взглянул на Кравцова. Тот продолжал сидеть на койке, уронив голову на руку.

На картине был изображен непристойный сюжет: два человеческих обнаженных тела, охваченных порывом какой-то неудержимой страсти. Они освещались мягким светом лампы, горящей на ночном столике. Лицо женщины и тело ее были красивыми и нежными, но лицо мужчины оставляло страшное впечатление: оно изрыто язвами проказы так же, как и обнаженная спина...

– Тебе не нравится? – глухо спросил Кравцов, не поднимая головы.

– Да, братец, эта вещь по технике – вполне совершенная, – тихо сказал Протасов, – сила чувствуется, но сюжет мне не нравится, неестествен. В жизни такого положения не может быть. Такая красавица, и вдруг... такой оборот. Сумасшедшая фантазия. Бред. Это полотно сжечь надо. Нарисуй лучше что-нибудь другое. Только возьми реально... Это – мистика...

Кравцов поднял голову, встал, быстро подошел к картине, отодрал ее от стены и, так же быстро свернув, бросил ее под кровать.

– Ты говоришь: такого не может быть? Мистика? – почти закричал он. – Ты говоришь, это – бред, фантазия? Значит, ты сам... Протасов, или ангел, или осел. Значит, ты ничего не знаешь.

Наступило молчание.

Протасов забыл о сне, о головной боли, о том, что он пришел сюда в одном халате.

– Так ты, значит, не веришь? – опять спросил Кравцов. – Хорошо, – добавил он вдруг решительно, – если уж так вышло, то я тебе расскажу все... тебе одному расскажу, никому больше... понял? Значит, так надо.

Они сели рядом.

– Ты понимаешь, – начал Кравцов, – произошло все это вот как... Собственно, я еще до сих пор не знаю, как у них все это вышло. Тут какая-то дьявольская путаница, и я в ней до сих пор не могу разобраться.

– О чем ты говоришь? У кого это «у них»?

– Обожди, обожди, не перебивай... Главное – не перебивай... Иначе я могу забыть, хотя помню все до мельчайших подробностей. Я всегда и всем, в том числе и тебе, говорил: я не знаю, где и как я заразился проказой. Нет, я знаю, где заразился, и пусть она не лжет! Да, я знаю... Хотя, может быть, и ошибаюсь – кто знает? Обожди, не перебивай... Ты слушай... Главное, молчи и слушай...

Протасов сидел и удивленно смотрел на Кравцова, ожидая, когда тот начнет свой рассказ.

6. Протасов слушает Кравцова

– Я сказал уже, что она лгала, когда пыталась убедить меня в том, чего на самом деле не было и не могло быть. Все это произошло как раз наоборот.

Пусть она не клеветает. Между тем, ты знаешь, – мне приходит иногда в голову мысль, что, может быть, все это было именно так, как говорила она... Но нет, она лгала – я знаю... Зачем ты смотришь такими глазами? Ты думаешь, я сумасшедший? Ты ошибаешься, я рассуждаю совершенно ясно и отчетливо. Ну, так вот... Кстати, ты женат? Впрочем, я знаю, ты женат, и не в этом суть, – при чем тут твоя жена?.. Я спросил об этом так, между прочим. Интересно, о чем ты думал в тот момент, когда узнал о своей проказе?

– Мне не верилось, – сказал Протасов, – мне показалось, будто это – сифилис. Я не поверил даже тогда, когда врач устранил всякие сомнения. Я полтора года не верил... А потом меня отвезли сюда...

– А я поверил сразу. И так стало мне жутко в тот момент, до того отвратительным показался я самому себе, что в течение двух месяцев у меня недоставало решимости смотреть на эти багровые пятна, а потом и на язвы. Я много раз подходил к зеркалу и каждый раз не решался открыть глаза и отходил прочь. Ну так вот, слушай дальше. Тогда я начал искать причину. Я начал припоминать. Ты тоже искал? Тоже припоминал? Я бился долго. Искал ее так, как будто в причине той таилось средство, которое может излечить меня и вернуть мне здоровье. Странное занятие – искать причину! Но для меня эти поиски – статья особого рода. Я хочу установить истину: кто же виноват в этом – я сам, то есть непредвиденная, непредотвратимая, несчастная случайность, или кто-то другой? Над этим вопросом я бьюсь вот уже сколько лет и не могу сказать «да», не могу сказать «нет». Какой-то круг. Я чувствую, я верю, что это было так, как предполагаю, но она пытается опровергнуть мое убеждение и утверждает, будто было иначе, будто во всей этой катастрофе повинен только один человек, а именно – я сам. Ты понимаешь, какой фокус? Когда у себя под грудью я увидел впервые странное багровое пятно, – я был в недоумении. И только когда пятна появились на плече, на лице, когда они начали превращаться в язвы, тогда я сразу понял, что это – проказа. Мне не хотелось верить. Я долго не решался пойти к врачу, ибо знал: это будет окончательный приговор. Потом пошел. Через несколько дней он показал результат микроскопического исследования. Все было ясно. Мне оставалось только одно – искать причины. Я перерыл в своем прошлом все. Извлек из памяти все детали моей жизни, встречи, припомнил всех людей, с которыми приходилось встречаться, и не нашел никого, кто мог бы привлечь мое внимание. Ты вот знаешь причину – ты ездил обращать в христианскую веру астраханских калмыков и там заполучил проказу. Ты не поймешь мучительного чувства прокаженного, не знающего источника своего заражения, не имеющего даже повода заподозрить кого-нибудь. Целью моей жизни стали поиски этого источника. Я почти забросил работу. Я все думал над причиной, искал ее даже во сне и не мог отыскать. В таком состоянии можно покончить самоубийством, но я не покончил. Жизнь показалась мне отчего-то еще более значительной и ценной, может быть потому, что теперь у меня имелась цель – найти причину, выяснить момент заражения.

От жены и дочери я заперся в отдельную комнату: мне была страшна моя близость к ним. Я никого не допускал к себе и жил сам по себе, как жил бы человек, заброшенный на необитаемый остров.

Между семьей и мной встала стена. Мы почти не общались и не приходили друг к другу, – даже деньги, которые я зарабатывал, заказчики относили жене.

Мне страшно тяжело было жить таким образом. Пойми, у меня была пятилетняя дочь, к которой я не смел приближаться, я должен был убежать от нее всякий раз, как только она делала попытку приблизиться... Помню, подойдет к моей двери – и замрет, постоит так, а после...

несмело постучится и скажет: «Папочка, папочка, открой мне дверь». Как я прислушивался к ее голосу, такому просящему! Мне хотелось тогда забыть все, распахнуть двери и броситься к ней... И вместо этого я подходил к закрытой двери и кричал ей: «Ты больше никогда не приходи сюда, слышишь! Ты не смей сюда приходить! Уходи отсюда, уходи!..» И она уходила. А потом я слышал, как она плакала, и вместе с нею плакал я. Так – каждый день, и по несколько раз. Я продолжал искать причину. Я рылся в своей памяти и, как прежде, не находил ничего.

С женой я все-таки виделся, виделся, впрочем, только издали, не меньше чем на расстоянии десяти шагов. Странно, с того момента, как выяснилась моя болезнь, она стала веселее... Она как будто радовалась. Ее глаза светились счастьем. Каким? «Чему она радуется?» – думал я и не мог понять. Может быть, мне только так казалось? Во всяком случае, я продолжал работать и, возвращаясь из мастерской в свою комнату, находил там приготовленную мне еду. Иногда мною овладевало странное желание: мне хотелось чьей-нибудь ласки, я хотел, чтобы кто-нибудь пожалел меня, чтобы меня не боялись, не сторонились, но я знал, что моя жена никогда не допустит меня ближе, чем на десять шагов. Единственное существо, которое могло бы сделать это и безбоязненно прийти ко мне, даже если бы понимало всю грозящую ему опасность, – была моя дочь, мой ребенок. Но я гнал ее от себя, я не хотел видеть ее, ибо знал: увидя ее, я не выдержу и брошусь к ней... В то время моя болезнь прикрыта была одеждой, дальше груди она не пошла, и лицо не было еще тронута язвами. Но я понимал: скоро очередь дойдет и до лица. Я продолжал работать, мне хотелось накопить как можно больше денег, обеспечить жену и дочь, а потом уйти или покончить с собой. Особенно тяжело давались мне ночи. Я почти не спал – не от боли, а от сознания, что в теле моем – проказа. В такие минуты я тихо выходил из своей комнаты и на цыпочках пробирался туда, где спала дочь. Мне страшно было отворить дверь ее комнаты.

Я только безмолвно стоял у двери, за которой она спала, и затем уходил обратно... Тянуло меня и к жене... Я подходил иногда к двери ее комнаты и тоже не решался войти, хотя знал, что при встречах и она, и я постараемся не забывать о действительности... Мне казалось: она скучает по мне так же, как я – по ней. Скучает... Если бы я знал! Я думал, что она пожалеет меня хоть издали, хоть взглядом, улыбкой.

В ту ночь, подойдя к двери, я взялся за ручку и нажал. Дверь открылась.

Я тихо переступил порог. Первое, что бросилось мне в глаза, был мягкий, зеленоватый свет на ночном столике, около ее кровати, а на кровати я различил двух людей. Сперва я ничего не понял и почти забыл о болезни. Тихо и медленно пошел я туда, к зеленому свету. Они меня не заметили! Они думали, я лежу как сваленное дерево там, в своем болоте, и сплю. Они не предполагали, что я могу так неожиданно войти в спальню моей жены, – ведь я – вычеркнутый из жизни! Прокаженный!

И вот, подойдя вплотную к кровати, я понял наконец происходившее. Он сразу вскочил с постели и, как-то испуганно взглянув на меня, принялся торопливо возиться с брюками. Он старался не смотреть на меня, и, может быть, поэтому его лицо попало в полосу света, мне показалось, будто я увидел на лбу у него какое-то темное пятно. И тогда словно внезапный луч ворвался в мой мозг. Я подошел к нему и, не говоря ни слова, взял руками его голову так крепко и сильно, что он крикнул. Я еще ближе подтянул его к свету. Он сопротивлялся и барахтался...

На лбу, в том месте, где собирались морщины, действительно темнело бурое пятно. Жена бросилась к двери и замерла там.

Тогда я приказал ему раздеться. Он продолжал возиться с пуговицами на брюках. Ни она, ни он, вероятно, не подозревали – какую цель я преследую.

Жена закричала. Она, вероятно, думала, будто я глумлюсь над ним. Я снова потребовал сбросить одежду. «Я не разденусь!» – ответил он и как-то умоляюще виновато взглянул на меня. Мне стало противно ждать, противно наблюдать эту возню с брюками. Я повалил его на

пол и начал срывать одежду. Я сорвал нижнюю сорочку и на спине его увидел почти зажившие, явно подлеченные язвы.

Тотчас же я оставил его в покое и снова ушел в свою комнату, не сказав никому из них ни слова.

– Это она – на картине? – не выдержал Протасов.

– Она. Ты слушай, не перебивай.

– А прокаженный, вместе с нею, это он?

– Он.

– И абажур тот самый?

– Тот самый.

– Она действительно такая красавица?

– Да.

– Ты ее любил?

– Ты слушай, а то я собьюсь и потеряю мысль.

Так вот, на следующий день жизнь протекала так же, как текла она до этого происшествия. Случая в спальне жены будто и не было, но в душе моей было торжество – я нашел причину! Вот где источник! Теперь я должен как будто бы успокоиться, примириться... Нет, успокоения я не получил. Во мне поднималось новое чувство – негодование. У меня теперь не осталось ни малейшего сомнения, каким путем произошло заражение. Однако никто из нас в течение нескольких дней не решался заговорить друг с другом. Я по-прежнему, возвращаясь из мастерской, находил в своей комнате приготовленную мне еду. И вот однажды потянуло объясниться с женой, хотя с того момента я понял, что все нити, соединявшие нас до сего времени, были оборваны. Может быть, мне надо было убить ее, но я не сделал этого, потому что с нею оставалась моя дочь. Я решил уйти. И, прежде чем сделать это, я пошел к ней. Вот какой разговор произошел между нами:

– Ты знала о его болезни?

Она посмотрела на меня с дикой ненавистью и, не отвечая на мой вопрос, сказала:

– Это ты заразил его!

– Я?

– Да, да, ты. Я знаю: женщина может остаться здоровой, но способна передать заразу от больного мужчины здоровому. Это ты заразил его! Ты, ты!

Своими словами она била меня, как хлыстом. Мне стало страшно. Все мое открытие насчет «источников» пошло к черту, не стоило выкуренной папиросы...

Как мог я передать через мою жену проказу ее любовнику, если я ушел от нее тотчас же, как только болезнь стала мне известна? Разве проказа передается в инкубационном своем периоде?

Я задал ей следующие вопросы: жила ли она с ним до моего заболевания? Видала ли она на нем язвы до моего заболевания, и если не видала, то не вызывали ли у нее подозрения пятна, которые, очевидно, возникали на его лице и которые она не могла не заметить? Спрашивала ли она у него о происхождении этих пятен? Наконец, говорил ли он сам когда-нибудь о своих язвах и пятнах?

Мои вопросы ее смутили. На первый из них она ответила положительно: да, жила еще задолго до того, как я узнал о своей проказе. Она с каким-то ожесточением подчеркнула это обстоятельство, будто в том, что она жила с любовником, был какой-то подвиг. Но, может быть, ей просто хотелось сделать мне больно? На мой второй вопрос ответила: язв не видала, пятна подозрений не вызывали, и вообще по этому поводу у них никаких разговоров не было. Я не знаю, говорил ли он ей или действительно не говорил о своих язвах и спрашивала ли она его о них, – для меня было ясно одно: отвечая отрицательно на все вопросы, кроме первого, она преследовала только одну цель – снять с него подозрение, очистить его и тем самым воз-

ложить обвинение на меня... Я виновен! Я заразил! Но она ошиблась... Своим отрицанием она дала мне в руки ключ для разгадки, кто кого заразил: он меня или я его? После, наедине с самим собой, я разрешил вопрос следующим образом – допустим, она могла не заметить у него признаков проказы; для нее все это могло казаться невероятным, – женщина всегда верит любовнику до самозабвения, нередко против фактов, против здравого смысла. Но мужчина в любовных делах практичнее женщины... Так вот, если бы, предположим, ты, Протасов, жил с женщиной, у которой муж – прокаженный, и если бы ты внезапно увидел у себя на лице багровое пятно, разве ты не испугался бы? Разве ты не открылся бы ей?..

– Конечно, я поговорил бы, – сказал Протасов.

– Ну, вот, – продолжал Кравцов. – А он не сказал ей ничего. Значит, он скрывал свои язвы? Значит, боялся чего-то? Тут у меня возникает мысль: не скрывал ли он все это потому, что боязнь потерять любовницу останавливала его от этого шага? В таком случае мое обвинение рухнет. Но она ведь мне говорила: он любит ее безумно, а если это так, то разве возможна столь чудовищная вещь – поставить умышленно лицом к лицу любимую женщину с возможностью заражения? Я, кажется, здраво рассуждаю, Протасов? Теперь, что означает его попытка лечения язвы? Я ведь видел залеченные рубцы... Она мне сказала: связь с ним длилась в течение двух лет – еще до моего заболевания, и в течение этих двух лет он был здоров. Но ведь в течение двух лет она могла и не заметить признаков проказы так же, как не замечала она их и в тот вечер? А при известной ловкости признаки могли быть великолепно скрыты. Так вот, значит, он лечился? Следовательно, о своей проказе он знал, мало того, он молчал, скрывая болезнь от любимой женщины. Ты представляешь, какая невероятная подлость таится во всем этом происшествии. Два года связи прокаженного с моей женой – срок, вполне достаточный для того, чтобы через нее заразить меня. Как видишь, все совпадает, все говорит за меня и против него.

Когда я все это обдумал и пришел к ней высказать свои соображения – началась истерика. Она по-прежнему продолжала твердить, что во всей этой истории виноват только я. Странно: ни тогда, ни после она совершенно не беспокоилась о своей судьбе, как будто о ее заражении не могло быть и речи.

Тогда я спросил у нее: почему у меня болезнь начинает только развиваться, а у него она уже заканчивается? Выходит: проказа проявилась у него раньше, чем у меня. Но жена продолжала твердить свое. Она сказала: болезнь у меня могла сидеть годами, а у него проявилась гораздо быстрее. В общем, я не добился от нее ничего и ушел убежденный в непоколебимости моих подозрений. После этого я уже больше не встречался с ней и продолжал раздумывать над мучившим меня вопросом: кто кого? Странно, на меня произвел впечатление последний ее аргумент о разнице организмов и неодинаковости восприятия болезни отдельными субъектами. Почему же он ничего не говорил ей о своей проказе? Может быть, он сам не подозревал о ней, и болезнь выявилась у него совсем недавно, то есть после того, как выявилась она у меня? Над этим вопросом я долго ломал голову и решил в конце концов обратиться к нему. Он испугался моего прихода.

Он думал, что я пришел убить его.

– Вы должны ответить на все мои вопросы, и ответить только правдой, – сказал я ему, – вы отчетливо должны понимать сложившуюся обстановку, пришел я к вам не из праздного любопытства. Мстить не собираюсь, я хочу только выяснить при вашей помощи то, что глубоко интересует меня...

Он смотрел на меня с какой-то тупой, раздражающей злобой.

– С какого момента вы живете с моей женой?

– С того момента, как вы заболели, – она не жена вам.

– Если вы не хотите, чтоб я называл ее женой, – пускай будет так. Меня все же интересует вопрос о сроке вашей связи.

– Этого вам не надо знать.

– С какого времени вы больны? Когда вы заразились?

– Я не знаю, когда я заразился, – я знаю только, что заразился, по-видимому, от вас...

От вас, – взвизгнул он.

И вдруг вскочил и забегал по комнате.

– Вас надо гнать отсюда дрекольем, – завопил он, – вы прокаженный, вы знали... У вас такая болезнь, и тем не менее вы продолжали жить со здоровым человеком! Это подлость! Подлость!

Тогда я прекратил свой допрос. Весь мир, окружавший меня вместе с проказой, ушел из моего сознания...

Я видел только... или, вернее, не видел, а чувствовал лицо этого человека с наглыми, лживыми глазами... Так совершаются убийства... Я ушел тихо и спокойно. Меня не заметил никто. Потом я скитался два года, скрываясь от правосудия. А он знал, подлец! Все знал, – задумчиво пробормотал Кравцов и умолк.

– Но ведь тебя, как прокаженного, все равно не судили бы. Ни один прокурор не согласился бы требовать заключения тебя в исправдом.

– Совсем не в этом дело, Протасов...

– Эти деньги ты ей посылаешь?

– Ей...

Наступило молчание.

– Не в деньгах дело. Ведь с ней моя дочь, – снова заговорил Кравцов. – Еще и до сих пор у меня осталось сомнение. Вот уже сколько лет я мучаюсь все над тем же вопросом: я – его, или он – меня? Ах, Протасов, Протасов... как мне тяжело! Как тяжело мне, Протасов!..

Кравцов взялся за голову и медленно отошел к окну. Протасов угрюмо смотрел в пол. Он не знал, что надо сказать, как облегчить эту муку.

Вскоре потрясенный Протасов ушел, а Кравцов так и остался стоять у окна.

Больше Протасову не пришлось повидаться с Кравцовым. Он исчез из лепрозория. Его долго искали. О нем делали запросы, но следы Кравцова потерялись.

После него остались только известные всему лепрозорию картины со странно яркими красками. Остальные исчезли вместе с ним.

7. Петя и Арлюк

Теперь в доме номер восемь, в котором жил Кравцов, стало на одного обитателя меньше. В нем осталось только двое: Сидор Арлюк и Петя Калашников.

Петю привезли сюда полтора года назад. Ему не удалось сдать последние экзамены: разразившаяся болезнь не позволила получить свидетельство об окончании школы и поехать в вуз, о котором мечтал он еще и теперь. Проказа оборвала нить, связывающую его с будущим, – теперь Петя не станет уже студентом, он – прокаженный.

Впрочем, ему иногда казалось, что у него не та страшная болезнь, за которую живых людей лишают всех человеческих прав и ссылают сюда, в глубь пустой, голой степи, отрывая от дома, от матерей, от товарищей, от уроков, от девушек, от будущего. За что? Какая несправедливость! Разве Петя повинен в том, что он болен?

Несколько раз он собирался бежать из лепрозория, и каждый раз его сосед по комнате – Арлюк, словно заранее зная Петины намерения, говорил:

– Ты не думай об этом. Все равно воротят... Найдут и воротят... Это, брат ты мой, не у маменьки и не у папеньки за пазухой... Брось...

Дни проходили за днями, и были они похожи на листки календаря: оторвали, выбросили, и нет их. Дни не оставляли в памяти никакого следа, как никакого следа не оставляет камень, брошенный в мутные, быстро текущие воды.

Такая пустота была на душе и такая тоска – в сердце! И люди кругом такие холодные, ушедшие в себя, такие чужие люди! Даже сами прокаженные относятся друг к другу так, будто они боятся друг друга и стараются друг от друга уйти. А здоровый двор казался ему населенным каменными фигурами, которые зачем-то двигаются, зачем-то лечат их, этих людей, которые никогда не будут здоровыми... Единственным утешением в его жизни являлся дневник, который писал он каждый раз, когда Арлюк переставал петь свои унылые песни и засыпал.

В дневнике не было ничего особенного, но написанное в нем являлось для Пети, после матери, девушки и товарищей, самым дорогим и значительным в жизни, ибо дневник заменял ему на больном дворе все: и мать, и товарищей, и девушку.

За полтора года пребывания в лепрозории никто из товарищей к нему не приезжал. Он ждал их каждый день, но день приходил и снова уходил, и говорил Пете, что товарищи к нему не придут и Пете ждать их не надо.

«Неужели я так страшно болен? Неужели я так опасен для них?» – думал он, когда солнце, безучастное к его боли, садилось в степи, за горбом дальнего кургана. Два раза в месяц к нему на свидание приезжала мать, и мать не боялась Пети, как и Петя не чувствовал между собой и ею установленной проказой границы. Она была маленькая, сгорбленная, такая грустная, одетая во все темное, и всегда при встрече с ним хотела улыбаться. Она входила в его комнату, садилась рядом с ним на его постель, гладила его волосы, и Петя старался казаться мужественным, он хотел ободрить ее и все твердил матери одну и ту же фразу, в которую ему самому хотелось верить: «Это ничего... это пройдет, мама...»

Вместе с матерью из города приезжала к Пете девушка. Одетая она всегда была во все белое, и волосы ее покрывал белый шарф. По уговору Пети и матери, девушка не входила в его комнату и не приближалась к самому Пете.

Все же иногда она пыталась разговаривать с ним так же близко и так же близко чувствовать его, как и мать. Но Петя отстранял ее и говорил: «Близко подходить ни к чему, надо соблюдать осторожность». И они разговаривали на расстоянии, борясь с желанием подойти друг к другу. Обычно они перебрасывались незначительными и ненужными фразами, потому что не в состоянии были выразить словами то, что могли сказать глазами. Может быть, потому они больше смотрели друг на друга и грустно улыбались.

Обе женщины приезжали два раза в месяц утром и уезжали из лепрозория под вечер, когда солнце висело над курганом, и Петя долго стоял на дороге и смотрел вслед удаляющемуся экипажу.

Он думал: так будет продолжаться все время, пока не исчезнет болезнь.

Однажды мать приехала одна. Петя долго искал глазами девушку, в надежде увидеть ее, и не нашел. Тогда, будто невзначай, спросил он у матери:

– А Маруся?

Мать ничего не сказала. Она только посмотрела на него, и по этому взгляду Петя понял: девушка осталась в городе. Она не приехала. Она не будет больше приезжать к нему. Он опустил глаза, потом вздохнул и ничего не сказал, – ему хотелось плакать, но он боялся расстроить мать и потому делал вид, будто он ждал этого и ничего особенного не произошло.

С тех пор два раза в месяц в лепрозорий приезжала одна мать. Девушка исчезла, и между матерью и сыном никогда не возникал разговор о ней, словно ее вообще никогда не существовало.

Зато отсутствием девушки интересовался Петин сосед – Арлюк.

– Где же твоя беленькая? – спрашивал он. – Забыла или заболела?

Петя молчал.

– Все они такие, вертихвостки... – продолжал Арлюк. – Разве мы нужны им?

Пете неприятно было слышать то, о чем говорил Арлюк. Он не отвечал ему, ибо воспоминания и разговоры о девушке угнетали его. Когда он был здоровым, она говорила, что никогда не забудет его и пойдет за ним всюду, даже – на смерть. И вот перестала приезжать. К болям язв теперь прибавилась еще одна: обида... Он долго думал о своей Марусе, и однажды его осенила мысль, которую Петя записал даже в своем дневнике: встретиться когда-нибудь с ней и причинить такую же боль, какую причинила она. Он выздоровеет... обязательно выздоровеет, и тогда поедет в город, встретит ее и пройдет мимо.

Она, конечно, побежит за ним, будет звать его, плакать и просить простить ее, обещая вечно любить. Но он пройдет, не замечая девушки. Вот только поскорей бы выздороветь!

Петя верил в свое выздоровление. И, вероятно, поэтому при каждом врачебном осмотре спрашивал Туркеева:

– Доктор, вы меня еще не скоро выпишете?

Туркеев поверх очков смотрел на него своими близорукими, казавшимися Пете смешными, глазами и, как всегда, отвечал:

– Ничего, батенька мой, ничего... Вы еще поживете у нас... Надо пожить. Разве у нас плохо? Торопиться вам, батенька мой, некуда... Вся жизнь у вас еще впереди...

Петя уходил от него, и ему казалось: язвы его начинают ныть еще сильнее.

Однажды мать привезла ему щенка. У щенка были синие глаза, а сам он казался беспомощным, таким теплым и неуклюжим. Петя спал вместе с ним, и ему радостно было чувствовать под боком эту теплоту и нежную морду, тыкающуюся ему под рубаху. Тогда Пете становилось легче, он чувствовал себя не таким одиноким и заброшенным, и не такой мучительной казалась измена девушки.

Через шесть месяцев щенок вырос и заменил ему товарищей, девушку, потому что он не боялся проказы, не стыдился язв, не смотрел на него такими глазами, какими смотрят на прокаженных те. Он дал ему имя «Дружок». У Пети теперь было два товарища – верных, бескорыстных, которые никогда не покинут его, – дневник и Дружок.

Так прожил он целый год с того момента, когда в последний раз видел девушку. Он стал уже забывать о ней, и чувство обиды начало исчезать. Он уже не ждал встреч с нею по выходе из лепрозория и не хотел показывать ей свое презрение. Петя успокоился, примирился с непотухающей своей тоской, примирился с тем миром, который оторвал его от будущего, от вуза и неведомо на какой срок отослал сюда.

В один из дней свидания Петя был изумлен так, как не изумлялся никогда за все время своей жизни в лепрозории. Вместе с матерью на больной двор пришла и девушка. Он сразу забыл все: и обиду, и боль язв, забыл в первое мгновение даже мать и бросился бежать навстречу женщинам с такой поспешностью, что даже обрадованный Дружок не в состоянии был угнаться за ним. В пяти шагах от девушки Петя вдруг остановился. Он вспомнил, ближе этого расстояния нельзя приближаться к здоровым людям. Он улыбнулся счастливой, хорошей улыбкой, и она ответила ему тем же, но улыбка эта была уже не та, она принадлежала уже не той Марусе, которую он знал когда-то, а какой-то другой, чужой, незнакомой ему девушке. Тогда он перестал улыбаться и исподлобья принялся рассматривать ее. Дружок подбежал к ней и тщательно обнюхал платье, туфли, потом подбежал к Пете, и тот погладил его добродушную морду. Девушка показалась ему выросшей. Она изменилась. На ней уже не было ни белого платья, ни шарфа, который так любил Петя; не было и Марусиной косы. Девушка остригла волосы, на ней была модная шляпа и модное платье, и говорила она ему «вы» вместо прежнего близкого «ты». Петя услышал в этом «вы» разлуку навсегда и почувствовал: ей теперь неприятно видеть его и, может быть, – даже стыдно. Он отвернулся и снова погладил ласковую морду Дружка, блаженно закрывшего глаза от прикосновения Петиной руки.

– Как вы живете, Петя? – спросила девушка.

– Мы живем так же, – ответил Петя, рассматривая Дружка, – а вы как живете, Маруся?

– Я окончила в этом году вторую ступень, теперь я, наверное, поеду в вуз...

– В вуз... счастливая...

Она рассматривала его со всех сторон пристально, с любопытством, как будто стараясь увидеть нечто, скрываемое Петей.

– Как вы изменились, боже мой... Неужели это вы, Петя, а мне почему-то хотелось увидеть вас не таким.

– А каким? – угрюмо спросил Петя.

– Не знаю... Другим каким-то...

Он поднял на нее глаза, потом опустил их и ничего не ответил.

– Эта собака ваша?

– Да, мама привезла... единственный друг... новый... Ведь старых у меня нет...

– Славненькая собачка, – сказала она безразлично, не понимая или стараясь не понимать его намека, и посмотрела куда-то мимо Пети.

Он заметил ее безразличие, и ему стало вдруг неприятно, что в пяти шагах от него стоит эта девушка. Он позвал отбежавшего Дружка и сказал ему:

– Пойдем, Дружок.

Собака лизнула ему руку.

– Прощайте, Маруся... – И пошел в глубь больного двора, где ожидала мать.

Это был последний приезд Петиной девушки в лепрозорий. С тех пор он никогда больше не видел ее и не расспрашивал о ней мать.

В конце третьего года Петиного пребывания в лепрозории произошел случай, давший Пете новую надежду на выздоровление. Его товарищ по комнате – Арлюк – внезапно почувствовал облегчение: язвы его начали быстро зарубцовываться и через три месяца вовсе исчезли. Арлюк выздоровел, к удивлению всего лепрозория.

В связи с этим случаем больше всего встревожился Протасов. Он носился по больному двору из одного дома в другой, поминутно забегал в комнату Арлюка, пытаясь выяснить у того какие-то, только его одного интересовавшие детали. Но Арлюк уклонялся и от ответов, и от встреч с Протасовым. Вообще с того момента, как его объявили выздоравливающим, Арлюк избегал встреч не только с одним Протасовым, но и со всеми больными. Неизвестно почему, он начал сторониться всех и в конце концов настойчиво предупреждать прокаженных, чтобы они не приближались к нему.

Это обстоятельство изумляло всех, и больше всего Протасова, который не вытерпел, возмутился и решил «как следует поговорить» с этим «прокаженным идиотом».

Переговоры, впрочем, не состоялись, так как Арлюк не пожелал вести их, и Протасов вознегодовал еще пуще.

– Ты болван, – кричал ему Протасов, стоя за десять шагов от Арлюка, – ты – тупое животное.

Но тот как будто не слышал этих приветствий.

Единственный человек, которого терпел Арлюк, был Петя, и то, быть может, потому, что ему приходилось жить с ним в одной комнате.

Еще задолго до окончательного выздоровления Арлюк проявлял склонность к какой-то странной осторожности; он старался пореже встречаться с прокаженными. Петю же терпел.

– Вот видишь, она уже сходит, я говорил тебе: я – сильнее ее.

С тех пор как начали зарубцовываться язвы, пожравшие арлюковский нос, вытравившие брови, искромсавшие лицо, Арлюк все чаще и чаще начал являться к доктору Туркееву. Тот рассматривал этот процесс как нечто временное и не придавал большого значения начавшемуся улучшению. Арлюк же иначе относился к этому явлению. Он решил: начался исход проказы, и ждал его завершения с упрямством и терпением кошки, караулящей мышь. И когда удивленный Туркеев однажды констатировал отсутствие микробов проказы и объявил Арлюка выздоровевшим, тот выразил желание немедленно уехать из лепрозория. Желание его удовлетворено не было. Арлюк должен был прожить в лепрозории еще некоторое время на испытании.

Один раз он сказал Пете:

– Ты ко мне не прикасайся.

– Почему? – удивился тот.

– И чая из моей чашки не пей, и на кровать не садись, и полотенце мое не трогай.

– Почему, Арлюк?

– Так. Не хочу.

– Странно.

И только потом выяснилось: Арлюк боялся заразиться «чужой черной немочью», как называл он проказу. Арлюк держался мнения, будто у каждого человека есть своя собственная хворь и у каждого человека сидит она по-разному: одного терзает, другого милует, один умирает от нее, другой живет целую жизнь, – у каждого своя «черная немочь». И каждый организм по-своему ведет с нею борьбу: один справляется, другой – нет, у одного человека организм становится сильнее проказы, у другого – проказа сильнее организма. «На свете, – говорил Арлюк, – проказ существует столько, сколько существует больных. Все проказы разные, и к каждой из них человек приспособляется по-своему. Впусти в человека чужую проказу – крышка. С двумя проказами – чужой и своей – человек никогда не справится».

И вот из боязни, что к нему «прилепится» чужая проказа, Арлюк стал избегать общения с другими больными. В одно из посещений доктора Туркеева он сказал ему:

– Теперь я, доктор, чистый, разрешите мне занять комнату на здоровом дворе.

– На здоровом дворе? А разве тебе здесь плохо живется? Чего это тебе туда захотелось?

– Да так, доктор, боюсь заразиться. Прилепится второй раз – значит, аминь!

– Постой, батенька, что это ты говоришь? Заразиться? Чем заразиться? Прежде всего – ясность: почему ты так думаешь?

Очки доктора Туркеева поползли на лоб, и он заморгал глазами, стараясь понять мысль этого странного человека.

– Как чем, доктор, – изумился тот, – ясно, боль здесь одна – проказа.

– Постой, батенька, это как же? Да ведь ты ж сам еще такой... почти такой, – поправился он.

– Я знаю, но я ведь уже выздоровел и не хочу, чтобы прилепилась ко мне чужая хворь.

– Вон как, – пробормотал Туркеев, – странно. Но, батенька мой, у нас на здоровом дворе помещений нет, да если и были бы, я не мог бы этого сделать... Это – чушь, ты нелепость говоришь, голубчик. Вот когда кончится над тобой наблюдение, тогда мы и выпишем тебя совсем.

Этой странной философией Арлюка заинтересовался Протасов. Ему показалось: в ней есть некая доля правды. Если Арлюк настаивает на ней, то, по-видимому, так повелевает ему инстинкт самосохранения, а следовательно, для этого есть какие-то основания. Несмотря на то, что Арлюк уклонялся от встреч, Протасов все же продолжал интересоваться историей выздоровления Арлюка. Один раз он встретил его на больном дворе и еще издали закричал:

– Стой!

Арлюк остановился.

– Я дальше не сделаю к тебе ни шагу. Ты согласен говорить со мной вот так, на расстоянии десяти шагов?

– А что ты хочешь?

– Я хочу задать тебе несколько вопросов.

– Ладно, говори.

Протасов вынул книжку.

– Прежде чем ответить, ты хорошенько подумай, на ветер слов не бросай. Это дело серьезное.

– Я же тебе все рассказывал.

– Нет, еще не все.

– Что же еще?

– Ел ли ты какую-нибудь траву месяца за три до того, как начал выздоравливать, ну, например, дикий чеснок?

– Дикий чеснок... как будто бы ел.

Протасов торжественно отметил это в своей книжке.

– Когда купаешься, какую воду ты больше уважаешь, чуть теплую или почти горячую?

– Какую придется.

– Ну, а если тебе дадут ту или другую – какую ты выберешь?

– Все едино.

– Значит, тебе безразлично?

– Все едино.

Так они стояли на расстоянии десяти шагов друг от друга, перебрасывались отрывистыми фразами, которые казались нелепыми и смешными обитателям лепрозория. Но для Протасова все эти никому не нужные детали имели ничуть не меньшее значение, чем для Арлюка осторожное обращение с прокаженными.

Доктор Туркеев никогда не высказывал своего мнения относительно отдельных случаев выздоровления. Обыкновенно он или молчал, или говорил то, что должно понравиться больному, но всегда старался держаться правила: придерживаться истины и не вводить никого в заблуждение.

В Арлюке он сомневался, сомневался даже тогда, когда окончательно выяснилось его выздоровление. Он считал: проказа у Арлюка только «притаилась». Через некоторый промежуток времени она вспыхнет снова. Доктор Туркеев не мог установить длительности этого промежутка, но он был почти уверен: рано или поздно, а болезнь все-таки вернется, и вернется, может быть, в еще более разрушительной форме. Поэтому он не разделял ни возбуждения больного, ни сочувственной радости населения дворов.

Присоединиться к мнению всех – значило поверить в чудо, а чудесам доктор не доверял. Он слишком хорошо был знаком с «палочками», чтобы принять на веру их внезапное исчезновение. Туркеев молчал. Он не хотел никого разубеждать.

Зачем говорить человеку о ждушей его близкой смерти после того, как тот отбыл многолетнюю каторгу?

Арлюк сжег все свое старое постельное и носильное белье. Он приобрел «чистое», сменил всю одежду и делал все возможное, чтобы уберечься «от новой заразы»!

Иногда Арлюк мечтал вслух, и Петя, слушая эти мечтания, лежал на своей койке, казавшейся ему пропитанной запахом тлеющего мяса.

– Знаешь, Петя, уеду я на свою Екатеринославщину и организую там колхоз. Разведу кур хороших... леггорн... знаешь, есть такая маленькая курочка, беленькая... круглый год несется, каждый день... Поправишься – приезжай ко мне, будешь работать, и не нужна тебе станет твоя беленькая... У нас, на Украине, знаешь какие дивчины – не чета этим.

– А как ты думаешь, Арлюк, – поправлюсь я?

– Поправишься, Петро, не горюй. Ты верь, это – самое главное. Скажи себе, как я сказал. «Не ты меня, а я тебя, немочь, убью», и убьешь... Ты сперва научись «верить и терпеть». Научиться верить – большая штука, не каждому дается она... Вот ты попробуй...

Петя лежал молча, под койкой Дружок щелкал зубами, вылавливая блох.

Арлюк продолжал мечтать:

– Заведу я себе хозяйку и заживу разлюли – малина... Ты как думаешь, пойдет за меня молодая баба или не пойдет? Тут ведь ничего нет такого. Что рожа у меня немного покарябана, так ведь бывает и хуже... Человек я еще не старый, а баб теперь хоть отбавляй...

Он вдруг оборвал свои мечтания и запел: «Реве та й стогне Днипр широкий...». Петя продолжал лежать... Ему так хотелось уйти из этой проклятой комнаты вместе с Арлюком, туда, на Екатеринославщину, на Украину, куда угодно, только не оставаться здесь среди прокаженных.

Доктор Туркеев задерживал выписку Арлюка. Он осматривал его каждый день, выстукивал, выслушивал молча и сосредоточенно и однажды объявил:

– Если ты хочешь, Арлюк, мы тебя выпишем... Только помни, если что-нибудь случится, мы тебя всегда примем.

– Как «случится»? Что со мной может случиться, товарищ доктор?

Туркеев взглянул на Арлюка и прочел в его глазах внезапный испуг. Ему стало жаль Арлюка.

– Нет, нет, батенька, что ты... Я ничего плохого не вижу... конечно, ты здоров... Я хотел тебе сказать только, если не найдешь там работы – приезжай к нам, будешь всегда желанным гостем, ты ведь самый лучший у нас работник.

Арлюк повеселел и улыбнулся.

– Нет, доктор, больше уж не ждите меня здесь... Здесь я не жилец. А вам спасибо за все, помнить буду...

Когда Арлюка выписывали, доктор Туркеев позвал его к себе в кабинет и взял с него расписку, которая обязывала выздоровевшего, по прибытии к месту назначения или жительства, каждые три месяца являться к ближайшему врачу на освидетельствование.

– Для чего эта расписка? – спросил Арлюк.

– Закон требует... Надо, нельзя иначе, – объяснил Туркеев.

Арлюк распрощался со всеми и уехал. При прощании с Туркеевым он долго и испытующе глядел ему в глаза, потом вздохнул и махнул рукой:

– Эх, доктор, трудно понять, о чем вы думаете!

8. Двое новых

В доме номер восемь остался только один обитатель – Петя. Впрочем, с Петей жил Дружок. Кравцов сбежал. Арлюк уехал. Кого поселят теперь в эту комнату? Может быть, никого?

Жить с Арлюком было невесело, даже – тяжело. Но все-таки Пете было с кем перемолвиться словом в минуты тоски и одиночества. Теперь же он остался один с Дружком, окруженный четырьмя стенами, голыми и молчаливыми, как степь, простиравшаяся за ними.

Иногда по ночам ему становилось жутко, и хотя Петя знал, что его никто не тронет, что к нему никто не придет, – тем не менее ему делалось жутко именно от своего одиночества. Отъезд Арлюка освободил его от какой-то тесноты. Это дало свободу, которой он раньше никогда не ощущал. Теперь он садился писать дневник и писал его иногда целыми ночами, записывая свои впечатления о лепрозории, отдельных прокаженных, свои желания, большинство которых, он знал, никогда не осуществляются.

Так жил он несколько недель, один с Дружком, никем не тревожимый и не стесняемый.

Однажды, поздно ночью, лежавший под койкой Дружок проснулся и заворчал.

За дверями послышался шорох. Кто-то, по-видимому, искал в темноте дверь.

Петя закрыл дневник.

– Кто там? – спросил он, обернувшись к двери. Ответа не последовало.

– Кто там? – подойдя к двери, повторил свой вопрос Петя.

Снаружи кто-то кашлянул, будто не решаясь подать голос.

Петя открыл дверь. Из темных сеней на него глянуло худое лицо, обросшее жидкой бородкой. Лицо улыбнулось. Через порог шагнул маленький человечек в пыльных сапогах, в старой, рваной поддевке, в шапке, из-под которой выбивались длинные, давно не стриженные волосы. За плечами у человека висел мешок. В руках – палка. Он вошел в комнату несмело, осторожно, будто ожидал, что каждую минуту его могут отсюда прогнать. Петя взглянул на человека, и он показался ему почему-то похожим на Дружка.

– Здравствуйте, – сказал человек, снимая шапку и разглаживая волосы с таким видом, будто еще не знал, позволят ли ему здесь остаться.

– Что ж вы стоите, садитесь, – сказал Петя.

Человек снял мешок, поставил палку в угол и сел на скамью с такой осторожностью, будто боялся, как бы она не развалилась от его прикосновения.

– Вы больной? – спросил Петя, осматривая человека.

– Как вам сказать... можно сказать – больной... Прокаженный я.

– Значит, вы лечиться приехали?

– Как вам сказать... на жительство пришел... Мне-то лечения, может, и не надо, а вот только бы жить.

– Кто вас сюда послал?

– Да я сам.

– Вы сами пришли в эту комнату?

– Доктор послал меня...

– Туркеев?

– Полный такой, бритый, я у него на том дворе был.

– Пыхачев. Это – не доктор, а завхоз лепрозория.

– Мне-то все равно, лишь бы начальство.

– Ну что ж, поселяйтесь. Эта вот койка – ваша. Тут жил до вас прокаженный, который выздоровел. Недавно уехал отсюда.

– Выздоровел? – удивился человек.

– Да.

– А часто тут выздоравливают, прокаженные-то?

– Очень редко.

– А вы тоже прокаженный, молодой человек?

– Тоже.

– И у меня вот проказа... Ну, да я про себя ничего не говорю, нас тут двое будет... так я из-за того, другого, а не из-за себя. – Он помолчал и потом добавил:

– Поздно уже... Отсюда до нашего села двадцать пять верст, а прошел я их скрозь пешком

– поэтому и запоздал так... а фамилия моя, молодой человек, Кургузкин. Так и называйте меня – Кургузкин.

Утром Кургузкин поднялся рано, когда Петя и Дружок еще спали. Он расчесал волосы, поправил одежду и принялся осматривать комнату. Кургузкин нашел ведро, чайник, сковороду, примус. Он взял ведро и пошел разыскивать колодезь. Возвратясь с водой, он вымыл оставшуюся на столе со вчерашнего дня посуду, подмел комнату и, не зная, что ему делать дальше, сел на скамью.

– Я бы сам, – сказал Петя, проснувшись и заметив наведенный в комнате порядок.

– Это ничего, молодой человек, – как будто поняв его, сказал Кургузкин, – проснулся я нынче рано, и делать мне нечего, а вам спать – в охотку. А ежели вы беспокоитесь насчет чего, так не надо, – скажите только, я и сделаю.

С этого дня в доме номер восемь на одного человека стало больше. Если Петя никогда не питал никаких симпатий к Арлюку, то в Кургузкине он нашел существо, с первой же встречи ставшее для него чем-то вроде не то матери, не то няньки. Встречаются иногда люди, которые не могут жить без заботы о ком-нибудь другом. Если отнять у таких людей возможность добровольных хлопот и забот, это стремление нянчить кого-нибудь, – то жизнь покажется им пустой и скучной. К таким людям принадлежал и Кургузкин.

В первые дни Петя пытался помогать ему – например, мыть посуду, но каждый раз тот мягко отстранял его и улыбался своей странной, несмелой улыбкой, обезоруживавшей Петю.

Кургузкин величал Петю Петром Александровичем, Петя его – «дядя Кузьма», и оба были весьма довольны друг другом.

Так прошла неделя с того момента, как впервые пришел Кургузкин. За это время он успел два раза побывать в амбулатории на освидетельствовании. У него нашли бугристую форму проказы и выдали лекарство, но к лекарству Кургузкин не прикасался. Он находил, что лекарства «ни к чему», а раз ни к чему, то зачем человеку утруждаться по-пустому и утруждать других? Кургузкин относился пренебрежительно не только к лекарствам, но и к своей болезни.

Может быть, потому, что «бугры» не особенно его беспокоили и язвы на его теле не вскрылись. Так или иначе, Кургузкин почти не считал себя больным. Он относился с полным равнодушием не только к слову «проказа», но и к самой болезни и к больным, как будто все это должно быть в порядке вещей, как будто все это давно предreshено, предначертано и должно существовать среди людей, как и тысячи других неприятностей.

Кургузкин казался Пете удивительным. Что это – высоко поднявшаяся воля, ставшая выше страха, или сила привычки, выковавшая в нем столь безразличное отношение к болезни, перед которой трепетало человечество всех времен и народов? Развитая ли в высокой степени внутренняя культура этого человека или его невежество? Петя не мог разрешить этих вопросов. Теперь он писал свой дневник, не стесняясь присутствия в комнате другого человека, как стеснялся при Арлюке. Кургузкин не мешал Пете, когда тот открывал тетрадь и брал в руки перо. В такие минуты Кургузкин старался не нарушать тишины и вообще ничем не отвлекать Петиного внимания, так как с большим уважением относился к его занятиям.

Так прожили они в дружбе и согласии три недели, и за эти три недели популярность Кургузкина выросла в лепрозории, как ни у кого и никогда. Он привлекал внимание обитателей большого двора своей подвижностью, стремлением своим сделать каждому приятное, услужить

всем, обходиться со всеми ласково, предупредительно. Первое, что он сделал, – это украсил скворечником дом номер восемь. Скворечник понравился обитателям дома номер два, и тогда Кургузкин сделал скворечник и для дома номер два. Через небольшой промежуток времени почти все постройки большого двора были утыканы скворечниками.

В первые дни Кургузкин бродил по лепрозорию, долго останавливался перед домами, осматривал их, приглядывался к людям, заходил на здоровый двор. Его внимание привлекали машины, скотина, постройки, все хозяйственное добро лепрозория. Один раз он ушел в степь и долго бродил там, а возвратившись, сообщил Пете:

– Земля здесь сильная, целая земля.

Кургузкин проявлял к лепрозорию какой-то особенный интерес, какого не проявлял никто. Он расспрашивал каждого обитателя большого двора о том, как тут живет, много ли требуется иметь денег и чем здесь надо заниматься человеку, ежели он пожелает сюда перебраться.

Ему говорили: денег никаких не требуется, так как больных содержит казна, и заниматься тоже ничем не надо, потому что здесь все люди – больные, а больные, известное дело, какие работники! Если кто в состоянии – тот может летом на поле работать. А в общем, кормят хорошо и уход – что надо.

– Так-таки никто и ничем не занимается? – удивился Кургузкин.

– Если знаешь какое ремесло – можешь им заниматься – твое дело, принуждать же никто не станет.

Кургузкин относился к этим объяснениям с недоверчивостью, будто над ним шутили. Почему казна кормит и одевает? Почему бесплатно? В конце концов он все-таки удостоверился в столь невероятном явлении и сделал вывод: жить можно. Но как же все-таки без работы?

Кургузкин, по-видимому, изнывал без дела. Его угнетала эта праздность, может быть, гораздо больше, чем болезнь. Засоренная и обросшая травой площадка около дома номер восемь была тщательно вычищена им, выметена и приведена в порядок, будто готовил ее к смотру. Потом взялся за площадки соседних домов. Потом начал приводить в порядок дорожки на больном дворе. Он буквально не выносил безделья и все куда-то рвался, куда-то спешил, что-то придумывал.

Однажды он сказал Пете:

– А скучно здесь, Петр Лександрыч, – должно быть, сильно томится народ здешний. Главное – никуда ни уйти, ни уехать.

– Конечно, это не в городе, – сказал Петя, – в городе и театры есть, и кино, и народу много, и гулять всюду можно, а здесь где погуляешь?

Как-то раз Петя спросил Кургузкина:

– А где ваш товарищ, дядя Кузьма?

– Товарищ мой... Да он мне не товарищ, Петр Лександрыч, а благодетель и покровитель мой.

– А кто ж он такой?

– Да такой же, как я, тоже прокаженный, только мается он от хвори своей уже шесть годов, и мается как на огне... Измотала она его вконец, на человека стал непохож. Как на кого нападет...

Однажды Кургузкин исчез. Исчез он так же внезапно, как появился. Петя был удивлен и огорчен. Он ждал его каждый день, быть может, так же, как ждал в назначенный день свою мать. Но Кургузкин не являлся. Прошла неделя, вторая, третья... Наступила уже настоящая весна, в поле появились цветы.

Пыхачев готовился к посевам, – Кургузкина все не было. Наконец Петя решил больше не ждать и примириться с тем, что ему снова придется остаться одному во всем доме.

В начале четвертой недели с момента ухода Кургузкина, поздно вечером к дому номер восемь подъехала подвода, запряженная парой лошадей. Она обогнула главные ворота лепрозория и подъехала к дому «со степной», а не с «дорожной» стороны. Она сделала все возможное, чтобы ее не могли заметить. В подводе сидели трое, и среди этих троих был Кургузкин. Он молча спустился с подводы, деловито снял багаж и помог слезть второму. Третий повернул лошадей и поехал в сторону дороги.

Когда Кургузкин появился в Петинной комнате, тот не поверил.

– Это вы, дядя Кузьма?

Кургузкин снял шапку и протянул Пете руку:

– Теперь, Петр Лександрыч, я уже никуда не уйду. Теперь, Петр Лександрыч, двое нас.

В этот момент в двери ввалился человек. Вошел он как-то неуклюже и тяжело, будто шел не сам, а его несли. Он был тучен и высок. «Какой богатырь!» – подумал Петя. Человек бросил на пол корзину и осмотрел комнату с таким видом, будто осматривал только что выстроенный собственный дом.

Кургузкин бросился навстречу человеку и захлопотал около него.

– Это, Петр Лександрыч, и есть благодетель мой – Сидор Захарыч Басов, а это сожитель мой, молодой человек, Петр Лександрыч, о котором я уже говорил вам.

Басов кивнул головой.

– Будем мы теперь втроем жить, – сделав маленькую паузу, продолжал Кургузкин, – веселее нам будет... Да чего вы стоите-то, Петр Лександрыч, подойдите, подайте им ручку, будьте знакомы... Они, Петр Лександрыч, тоже приехали сюда на жительство, не хотели ехать, не верили мне, что тут хорошо... Так вы уж растолкуйте им еще раз, а то мне они не доверяют, считают меня за темного человека. Хотя я и в самом деле темный...

Басов поморщился и прервал Кургузкина:

– Ты, Кузьма, всегда говоришь лишнее и вздор. И зачем ты объясняешь молодому человеку все это? Какое ему дело до меня или до тебя?

– Как какое? – возразил Кургузкин. – Жить-то ведь мы все вместе будем, – значит, каждый должен о другом знать – что он за человек.

– Ну, ну, ладно, – нехотя согласился Басов, – поди, неси вещи.

Кургузкин с Дружком исчезли за дверью. Басов опустил на скамью.

– Никогда я не видел лепрозория, – сказал он скорее самому себе, чем Пете, – и не думал никогда жить в нем, а вот довелось. Кургузкин уговорил. – Он помолчал и продолжал:

– Здесь, значит, жил прокаженный, который выздоровел?

Петя рассказал. Басов с величайшим вниманием выслушал его. По временам он перебивал Петю и интересовался способами лечения Арлюка, образом его жизни. Петя спросил Басова:

– Значит, и вы прокаженный?

– Да, я тоже прокаженный... несколько лет... Спасибо Кузьме, если бы не он, я бы давно пропал. Разве он ничего не рассказывал обо мне?

– А как он вам доводится? – любопытствовал Петя.

– Никак. Работником.

С этого момента в доме номер восемь оказалось четыре жильца: Петя, Кургузкин, Басов и Дружок...

На следующее утро в лепрозории стало известно о возвращении Кургузкина и прибытии нового больного.

Доктор Туркеев вызвал Кургузкина к себе и объявил ему выговор за самовольную отлучку. Кургузкин принял этот выговор как должное и пообещал никогда больше не отлучаться. Медицинский осмотр констатировал у Басова бугристую форму проказы, начинавшей переходить в обостренный процесс.

Инфильтраты, обильно усеявшие тело и лицо Басова, начали уже вскрываться и переходить в язвы. Доктор Туркеев ободрил его и сказал, что в лепрозории «лечили и не таких».

На другой день Басов и Кургузкин были переведены в комнату, ранее занимаемую Кравцовым. Петю от них отделял небольшой узкий коридор, но для Кургузкина не существовало этого разделения, – он успевал хлопотать одновременно у обоих: у Басова и у Пети.

– Дядя Кузьма, вы бросьте, не надо, я сам...

Упрямство Кургузкина стояло выше Петиных попыток отклонить его услуги.

Едва Петя решил приготовить чай, как чай уже стоял на столе. То же самое происходило и с обедом, и с водой. Кургузкин буквально ошеломлял Петю своими проворством и предупредительностью.

Целыми днями он маялся около Басова, слегшего в постель тотчас же по прибытии в лепрозорий, и Петя, наблюдая за этими двумя людьми, не знал: кого больше жалеть из них – изнывающего от болей Басова или хлопчущего около него Кургузкина. Иногда Петя слышал, как густым своим голосом Басов выражал неудовольствие и упрекал Кургузкина в недостаточной поворотливости. Тогда Петя начинал испытывать к «благодетелю» неприязненное чувство. Кургузкин не обращал внимания на упреки Басова. Он молчал, а если и говорил, то только о том, что должно было «пойти на пользу больному человеку», – он советовал ему не беспокоиться, не волноваться и «зря не мучить себя».

Кургузкин аккуратно, утром и вечером, растирал его мазями, составленными по рецепту самого Басова, поил настойкой из розмарина, менял постельное белье, кормил, следил за чистотой, старался окружить его всяческими заботами.

Петя, не высказывая того, возмущался такими отношениями между этими двумя людьми. Иногда ему хотелось войти в их комнату и устыдить Басова.

Однажды он не вытерпел и сказал Кургузкину:

– Зачем, дядя Кузьма, вы позволяете вашему сожителю так кричать на себя? Разве вы ему обязаны чем-нибудь? Я бы не позволил с собой так обращаться...

– Видите, Петр Лександрыч, – сказал, не глядя на него, Кургузкин, – это не они на меня кричат, а болезнь их кричит... Не вольны они в крике своем.

И снова показался он Пете похожим на Дружка, которого можно побить и быть уверенным в том, что по первому же желанию хозяина он забудет все обиды.

Описывая свои наблюдения над жизнью Басова и Кургузкина, Петя заносил в свой дневник:

«Удивительные эти два человека. И почему Басов имеет право кричать без всякой причины, а Кургузкин молчит, будто боится его? Почему Кургузкин не обращает внимания на свою проказу и, не жалея сил, денно и ночью ухаживает за Басовым? Спрашивал – не говорит. Быть может, ему нечего рассказывать. Кто его знает? Кургузкин, по-моему, большой чудак. Я бы не стал так ухаживать за человеком, который кричит на меня».

Через несколько дней Петя заносил новые впечатления:

«Сегодня разговаривал с Кургузкиным по душам. Спросил у него, почему Басов смотрит на него, как на невольника? И он рассказал, что обязан Басову многим. Басов спас его не только от голодной смерти, но и от тюрьмы. В голодный год Кургузкин свел со двора Басова корову и заколол ее, намереваясь выменять мясо на хлеб. Заколоть-то заколол, а выменять не успел: Басов его накрыл. Кургузкин думал, что он тут же отдаст его под суд. Но тот не отдал, а, наоборот, простил, дал ему муки даром и даже пристроил его на работу, на свою мельницу, а весной вспахал и засеял Кургузкину землю. С тех пор Кургузкин считает его своим благодетелем. Он бросил землю и поступил к

Басову работником. Так до сих пор и живет у него. Конечно, Басов хорошее дело сделал, но разве можно с человеком так обращаться? Вообще Кургузкин какой-то чудаки. Не то святой, не то юродивый».

9. Конец Басова

У Басова наступило облегчение, он выполз из комнаты наружу и, увидав впервые за много недель солнце, заплакал. Теперь каждый день Басов стал выбираться из своей комнаты. Он усаживался на скамейке подле стены и, прищурясь, смотрел куда-то в степь. Там лежала весна, рассыпавшая обильную зелень посевов. Басов молчал и не замечал хлопотавшего около него Кургузкина. Вообще он очень редко разговаривал с ним, и это казалось Кургузкину вполне нормальным явлением. Впрочем однажды Басов осведомился у Кургузкина:

– Как ты думаешь, Кузьма, где бы я мог ее захватить?

– Где... Кто знает. Сидор Захарыч, где может захватить ее человек? Разве можно увидеть хворь? Может, поели чего-нибудь, а может, повстречались с кем-нибудь, – кто знает? Говорят, будто сама она ни с того ни с сего прилипнуть не может.

– Я тоже так думаю, Кузьма.

– А почему вы спрашиваете, Сидор Захарыч?

– Сдается мне, Кузьма, будто видел я его, и как только увидел, понял, что она у меня от него.

– Кого это вы видели? – робко спросил Кургузкин.

– Человека, который передал ее мне.

– Где ж вы видели его?.. Как будто и не ходили никуда, и не встречались ни с кем.

– Здесь я его видел, Кузьма.

Кургузкину показалось, что благодетель его будто не в своем уме.

– Может быть, вам показалось только, Сидор Захарыч? Во сне приснилось, а вы забыли о том. Бывает так – во сне видишь, а потом кажется, будто наяву.

– Балда ты, Кузьма. Это не сон, я видел его или похожего на него. Вот только фамилию совсем забыл, да и имя из головы вылетело. Знаю только, что семь лет назад служил он у меня кучером, а потом ушел.

Кургузкин спросил:

– А когда ж вы его видели?

Басов не ответил сразу и только после долгой паузы сказал:

– Вчера я сидел вот так же на скамейке, и вижу – идет человек. Походка знакомая, да и лицо тоже, будто я видел его где-то, а где – не знаю. Потом вспомнил, будто годов семь тому назад этот человек работал у меня одно лето... Теперь вот я высматриваю его целый день и не вижу... Но, может быть, это и не он, кто знает?

С того дня он стал чаще выползать наружу и дольше оставаться на «солнышке», просиживая так иногда целые дни напролет.

Басова, по-видимому, продолжал интересовать тот человек. Он высматривал его, но безуспешно, – человек исчез.

– Если бы знать фамилию, – говорил Кургузкин, – можно было бы спросить в канцелярии, а то как его узнаешь? А может, человек этот приезжал повидать кого-нибудь из своих?

– Не надо, – решил наконец Басов, – это не он.

Такое состояние у Басова продолжалось недолго. Он снова слег, и опять Кургузкин хлопотал около него, растирал мазями, поил розмарином, ухаживал. На этот раз пароксизм проявился бурно, и, не вытерпев более, Басов приказал Кургузкину послать за Туркеевым.

Басов был переведен в больницу, из которой вышел только спустя полтора месяца. Опять он почувствовал облегчение, язвы начали зарубцовываться. Он снова воспрянул духом.

Улучшение здоровья принесло ему надежду, которую он никогда никому не высказывал. Он начал вспоминать о селе, городе, о своем хозяйстве и говорил: «если бог пошлет здоровье», он уйдет жить в город. В день возвращения из больницы Кургузкин повел его в баню. Басов

любил париться не иначе как забравшись на полок, в самое пекло, где воздух так накален, что невозможно дышать. Он блаженствовал и требовал от Кургузкина пожесть хлестать веником, не жалеть пара. И Кургузкин работал с таким же удовольствием, с каким Басов принимал его работу. Корчась на горячих досках, Басов закрыл глаза и кряхтел от блаженства. В эти минуты он, быть может, забыл даже о том, кто он и где находится. Наконец он крикнул Кургузкину, чтобы тот остановился. Теперь его тело «намаялось» до конца, и он отдыхал, лежа с закрытыми глазами. Кургузкин окатил его водой, Басов открыл глаза и увидел рядом с собой голого человека, тоже блаженствовавшего на полке, и вдруг Басов осторожно, как собака, почуявшая зверя, близко подполз к нему и пристально всмотрелся в лицо.

Человек лежал с закрытыми глазами и не видел Басова. Он, может быть, спал.

Тогда Басов осторожно толкнул его в плечо:

– Эй, а ну-ка, смотри сюда, – сказал он.

Человек лениво открыл глаза и взглянул на Басова.

– Ты откуда будешь? – спросил Басов.

– Я-то?

– Ну а кто же?

– А тебе зачем?

– Был ты семь лет назад в Правобережном?

– В Правобережном?

Человек задумался. Потом снова закрыл глаза и словно сквозь сон произнес:

– Чего здесь разговоры разговаривать, нашел тоже, о чем в бане расспрашивать.

Басов поднялся и, не обращая внимания на Кургузкина, хлопотававшего около него с ушатом воды, пошел в раздевальню. За ним, как всегда неотступно, следовал Кургузкин. Когда они уселись, Басов сказал ему:

– Я его признал... человека того... он там рядом лежал. Ты его высматривай...

Вскоре человек, интересовавший Басова, появился в раздевальне, и тогда Басов, не одетый, испускающий пар, медленно подошел к нему и заглянул в лицо.

– Ты мне скажи, – спросил он его снова, – был ли ты семь лет назад в Правобережном или не был?..

Человек вытирал ноги, он поднял глаза, и нечто похожее на недоумение и любопытство отразилось на его лице.

– Лицо твое мне что-то знакомо, – сказал он.

– Ну как же, ежели глаза мои не обманывают, ты у меня тогда целое лето работал кучером. Работал?

Человек пристально всмотрелся в Басова.

– Верно, работал, – сказал он не то радостно, не то смущенно, – значит, старый хозяин...

Как, бишь, звали-то тебя – совсем забыл... Вот где опять встретились.

Он сделал было движение подать Басову руку, но тот вдруг придвинулся к нему почти вплотную и громко, торжественно спросил:

– У тебя она и тогда была?

В его тоне дрожала угроза, и человек почувствовал значение этого тона.

Он попятился назад, потом опустился на скамью и молча начал одеваться. Басов продолжал всматриваться в него. Он ждал ответа. Наконец человек вскинул на него глаза:

– Да ты, голубчик, в своем ли уме? И чего тебе вздумалось допытываться от меня всего этого?

– Ты скажи мне: была она у тебя в то время или не была? – повторил свой вопрос Басов.

Тогда человек отодвинулся от него.

– И чего ты ко мне липнешь?! – крикнул он нетерпеливо, загоразиваясь штанами. – Чего ты привязался ко мне? Да мне, брат, все равно – была она у меня в то время или не была... Мне, брат, нечего с тобой разговаривать.

Этот ответ словно ударил Басова по лицу. Он схватил человека за шиворот рубахи и потряхнул:

– Нет, ты мне скажи, ты не увертывайся, – загудел он, – я спрашиваю тебя еще раз: был ли ты болен тогда или нет?

Находившиеся в бане окружили Басова. Кто-то сказал:

– Чего ты добиваешься от него? Он седьмой год живет здесь – Коваленко-то, а ежели так, то значит – и тогда был болен, ясно. Сколько лет ты в лепрозории, Коваленко?

– Скоро семь.

Басов отошел от него.

– Мне это и надо знать, – сказал он угрюмо и, тяжело усевшись на скамью, принялся копаться в белье. Он волновался. Кургузкин замечал, как надевал он грязную рубаху, потом снимал ее и надевал чистую. Кургузкин видел, как тряслись его губы, и ему захотелось вмешаться:

– Нельзя вам так беспокоиться, Сидор Захарыч, оставьте его.

Но Басов не слушал его разговоров.

– Значит, это ты облагодетельствовал меня? – снова зловеще спросил он.

– Теперь я вспомнил, как ты возил мне из города продукты, резал барана, харчился на моей кухне.

– Откуда ты знаешь, – возразил Коваленко, – что это – я тебя? А может ты меня?

– А может быть, – не ты его и не он тебя, а судьба, – послышался чей-то спокойный голос.

– Не я его и не судьба, а он меня, – сурово возразил Басов.

– Э... э... да что там говорить, – продолжал тот же голос, – ты – его, он – тебя, разве кто виноват во всем этом?

– Виноват, – оборвал Басов, – виноват потому, что подл был, не сказал о своей болезни, надо было сказать, я бы знал. За такую подлость убивать надо.

В раздевальне стало тихо.

– А ежели я не знал? – заговорил вдруг Коваленко. – Ежели мне самому была неизвестна боль моя?

И опять голос неизвестного человека произнес:

– Судьба.

– Не судьба, а темнота человеческая, – возразил ему кто-то.

Но Басов, очевидно, не слышал этих замечаний. Он поднялся и, обращаясь в сторону, где одевался Коваленко, произнес:

– Казнить таких надо.

– Ого! – послышался чей-то новый голос.

– Публично казнить, пусть все смотрят, – настаивал на своем Басов.

– За что? – спросил кто-то.

– Пусть люди имеют понятие, – продолжал он.

– Пока они темные, не будет понятия, – снова возразил человек, спросивший – «за что?».

Басов оделся и вышел. Вслед за ним поплелся Кургузкин.

В тот день Сидор Захарыч был мрачный. Он ни с кем не разговаривал и ничего не ел. На следующее утро он вынул из корзины новый костюм, долго и тщательно одевался, так же тщательно расчесывал свои волосы и, ничего не сказав Кургузкину, отправился на здоровый двор, к доктору Туркееву.

Он долго ждал его у дверей амбулатории и, дождавшись, подошел к нему.

– Что ж, вы, батенька мой... совсем молодцом, – сказал Туркеев, – только бросьте вы свои мази.

– Я к вам по делу пришел, – сказал Басов.

– На побывку хотите? Что ж, вот посмотрим еще недельки две, тогда можно и поехать.

– И не о побывке я хочу спросить вас.

– В город, что ли, хотите?

– Я хочу, доктор, рассказать вам вот о чем: я нашел своего возбудителя. Он здесь, в лепрозории, раньше и в голову не приходило, что это он меня.

– Кто ж это? – насторожился Туркеев.

– Коваленко.

– Да, у нас есть такой больной. Так что же вы хотите?

– Я хочу, доктор, узнать, какое наказание полагается такому человеку?

– Вот тебе на, какое ж наказание? Почему наказание?

Басова начинала беспокоить непонятливость доктора, и он мрачно, повысив голос, сказал:

– А разве таких не полагается предавать суду?

– Суду? Что вы, батенька? Какому суду? За что?

– За то, что погубил человека. Он погубил меня на всю жизнь, – лучше умереть, чем жить так.

– При чем же он тут? – еще больше удивился доктор. – Разве он хотел этого? Разве он умышленно заразил? Разве он виноват?

– Виноват.

– Ну, батенька, это уж, простите, это – глупость. За это людей не наказывают. И судить его никто не будет. Это – несчастье. А если вы кого-нибудь нечаянно заразите, значит, и вас надо судить?

Смущенный и недоумевающий Басов вернулся домой. Он долго, отсиживался на своей койке, и тщетно Кургузкин пытался выяснить причины столь тяжелого настроения своего благодетеля.

Время от времени Басов проявлял чрезвычайную подвижность: он вставал с койки и принимался шагать по комнате, как зверь в клетке, которому не принесли в назначенный час еду. Он ронял отрывисто фразы, внезапно останавливался и снова принимался ходить. Кургузкин не понимал, для чего его благодетель надел новый костюм и что вызвало у него такое возбуждение.

– Если так, – вдруг сказал Басов, останавливаясь перед Кургузкиным, – то я знаю, как быть... Я, брат, найду управу и спрашивать их не буду.

Эти отрывистые фразы окончательно озадачили Кургузкина.

– О чем это вы говорите, батюшка? – спросил он несмело.

– Молчи!

Кургузкин замолчал. Басов, казалось, успокоился. По крайней мере, он лег и пролежал до самого вечера. Он дал себя растереть мазями, принял от Кургузкина стакан чаю и, когда на дворе стало темно, сказал ему:

– Ложись спать.

Кургузкин лег, но заснуть не мог. Он лежал и прислушивался к движениям на другой кровати. Басов оставался спокойным. Так прошел, может быть, час или больше. Кургузкин начал уже дремать. Вдруг он услышал, как Басов поднялся с постели. Тихонько, чтобы не разбудить Кургузкина, он ступил на пол, затем так же осторожно отыскал сапоги, надел их и вышел из комнаты. Все это показалось Кургузкину настолько странным, что он также поспешил подняться и выйти на двор. Вдали он заметил Басова, остановившегося у барака номер пятнадцать. Зачем ему этот барак? Басов направился к крыльцу и поднялся по ступенькам. Кургузкин бро-

сился к бараку и, подбегая туда, услышал треск в сенях. Когда Кургузкин вбежал в сени, он увидел взломанную дверь. В комнате слышалась глухая возня. Чей-то резкий голос, который, как понял потом Кургузкин, принадлежал Коваленко, что-то выкрикивал. Теперь ему все стало ясно: Басов пришел расправляться со своим «погубителем».

Остановившись у выломанной двери, Кургузкин крикнул:

– Батюшка, Сидор Захарыч, опомнитесь... Что вы делаете?

Басов не отозвался. Возня продолжалась. Кургузкин переступил порог – и в комнате, освещенной лунным светом, увидел Коваленко, в ночном белье метавшегося вокруг стола. За ним гонялся Басов. Он тяжело дышал, Коваленко ругался. Стол, однако, являлся для Коваленко хорошей защитой. В тот момент, когда Басов хотел перепрыгнуть через стол, Кургузкин ухватил его за полу пиджака. Басов молча отбросил его, как котенка, и остановился, чтобы сообразить, как ему поймать врага. В этот момент в руках у Коваленко оказалась железная кочерга. Он угрожающе поднял ее над головой и принял оборонительное положение. Басов выругался тяжким, как и сам он, ругательством и снова сделал попытку поймать его. Тогда тот ударил его кочергой по голове. Басов пошатнулся и схватился за голову. Коваленко снова его ударил. Басов застонал и повалился на пол. К нему подбежал Кургузкин.

Коваленко остановился в дверях, все еще не выпуская из рук кочерги.

На шум и крики сбежались обитатели двора. Басова отнесли домой. Из его головы лилась кровь. Послали за Туркеевым. Он пришел в сопровождении фельдшера. Раненому перевязали голову. Туркеев тут же отдал распоряжение – посадить Коваленко на неделю в одиночную комнату, и Коваленко, не возражая, отправился к санитару Федорову, который ведал этим местом заключения.

Утром Басов пришел в себя и позвал Кургузкина.

Тот сказал ему: доктор уже был, и Коваленко посадили в тюрьму. Басов, казалось, успокоился, потом спросил – какая тюрьма и как там содержат арестантов.

Когда узнал – расвирепел:

– И это все?! На том и засохнет? Нет, брат, теперь уж я этого дела не оставлю. Теперь я сам доберусь до города и донесу куда следует. И на Туркеева донесу... Я добьюсь своего... Таких казнить надо при всем народе.

Тщетно Кургузкин упрашивал его успокоиться – Басов продолжал грозить.

Завтра же он встанет и отправится в город. Но завтра он не встал. Не встал и послезавтра, и еще через неделю.

Причиной болезни явилась не рана, которая не представляла ничего опасного, а вновь начавший обостряться процесс. Зажившие было язвы опять открылись, – потрясение, вероятно, не прошло даром для Басова. Кургузкин был прав: ему нельзя было волноваться.

Пролежав три недели в постели, Басов заболел воспалением легких и умер, навсегда освободив Кургузкина от своего плена.

И только после смерти этого человека Петя выяснил одну неожиданную подробность, которую он и занес в свой дневник.

Эта подробность заключалась в следующем: проказа, которой болел Кургузкин, была проказой Басова. Пять лет назад заболев ею, тот приказал ему растереть себя мазями и тем заразил этого «невольника», как называл Петя в своем дневнике Кургузкина.

10. Лучи «оттуда»

Между больным и здоровым двором существовали сложные отношения.

Здоровый двор лечил больных, ухаживал за ними, кормил, устраивал по возможности их жизнь так, чтобы в ней скрашивались тоска и безнадежность. Но в то же время он остерегался.

Впрочем, здоровый двор делал все возможное, чтобы создать для прокаженных хотя бы иллюзию жизни, которую покинули они в тот момент, когда болезнь водворила их в лепрозорий. Эти усилия зависели в большинстве случаев от смет и бюджетов, от изобретательности администрации, от ее умения распознавать желания больных. И все-таки эти больные чувствовали себя прокаженными. Они смотрели на здоровый двор глазами людей, вычеркнутых из жизни. Между дворами лежало огромное пространство, которое никогда не могло исчезнуть. Это понимали и те, и другие. Выздоровление Арлюка сверкнуло как яркий луч из «того мира», но Арлюк уехал, и луч погас.

На здоровом дворе жили очень милые, очень хорошие люди. Но больной двор смотрел на них как на чужих, так же, как чужими казались прокаженные на здоровом. Может быть, многие из них не один раз думали сделать для больных что-нибудь выходящее за пределы регламента. Но как? Они этого не знали.

Особо выделялась на здоровом дворе стажерка Вера Максимовна Веди́на. Она была молода и бесстрашна, как бесстрашны бывают люди в двадцать лет. Где-то далеко отсюда остался у нее друг, которого она, быть может, любила. Она ожидала встретить в лепрозории каких-то особых людей, непохожих на всех остальных – каких-то исключительных героев. На деле же эти люди оказались такими же, как все, самыми обыкновенными людьми, с самыми обыкновенными житейскими заботами и стремлениями. Потом она узнала, что среди больных существовало много чистых, открытых сердец.

Веди́на принадлежала к той категории обитателей здорового двора, которым слишком недостаточными казались обязанности, предусмотренные регламентом внутреннего распорядка. Она чувствовала стену, разделяющую оба двора, и ей хотелось пробить в этой стене какую-то брешь. Но как?

В первый раз Вера Максимовна явилась на больной двор с таким же чувством, с каким дети приходят в зверинец. И любопытно, и жалко, и в то же время страшно было смотреть на прокаженных. Ей хотелось выпустить на свободу этих бедных людей. Впрочем, разве это можно сделать? Ведь они – прокаженные, они несут опасность заразы самой чудовищной, самой отвратительной болезни.

Нет, стена остается прежней, и по-прежнему она должна разделять два мира – тот и этот.

В первые дни при встречах с больными Вера Максимовна старалась держаться на расстоянии, которое, по мнению контагионистов, является безопасным для здорового человека. Потом привыкла. С каждым новым посещением больного двора это расстояние сокращалось и в конце концов вовсе исчезло.

Девушке иногда казалось, что прокаженные замечают ее предосторожность, и ей становилось стыдно оттого, что больные могут принять предосторожность за трусость.

Через неделю она поняла: прокаженным приятно видеть ее на больном дворе, ибо ничто не ободряет так больных, как появление среди них здоровых людей.

Она начала привыкать к ним. Ей нравилось писать от имени больных письма в родные края, развлекать детей, живших с прокаженными родителями, осматривать больных, давать советы, помогать в тех мелких житейских нуждах, обслуживание которых не входило в обязанности врачебного персонала, но которые доставляли больным радость, может быть, большую, чем лечение или предусмотренный правилами уход. Прокаженные называли ее «нашей»

докторшей», и всегда, когда Вера Максимовна появлялась на больном дворе, все обитатели бараков старались встретить ее так, чтобы в комнатах было чисто и опрятно.

Вере Максимовне были решительно безразличны эти приготовления обитателей больного двора. Ей не чистота нужна была, а люди, к которым приходила она «в гости». Ей давали поручения в город. Некоторым она не только приносила, но и читала газеты. Доктор Туркеев называл ее «поверенным больного двора» и был доволен ею. Он сам много думал о способах и средствах устройства быта прокаженных. Конечно, это неплохо – огороды, поле, работы по хозяйству, но это еще не все.

Как-то раз он услышал, как дверь его кабинета отворилась, и на пороге появился молодой человек с портфелем в руках. Туркеев сдвинул очки на лоб и поднял глаза на пришельца. Лепрозорий так редко видит у себя гостей, приезжающих из города. Они так неохотно ездят сюда. Доктор Туркеев с добродушным любопытством взглянул на молодого человека, положил перо, снял очки и протер их. Молодой человек, возраст которого Туркеев определил в семнадцать лет, подошел к столу, приподнял кепку и поклонился Туркееву:

– Здравствуйте, товарищ доктор!

Туркеев снова надел очки, пристально взглянул на молодого человека и подумал: «Какой же я тебе товарищ, – у меня скоро дочь такая будет». Но ему понравилось лицо юноши. Он улыбнулся:

– Здравствуйте, батенька, здравствуйте... Откуда это вы пожаловали к нам? Садитесь.

Молодой человек сел.

– Ну, рассказывайте, чем я могу служить вам?

Молодой человек двинулся на стуле и покраснел не то от приятельского тона доктора, не то оттого, что не мог подыскать для ответа нужных слов. Потом улыбнулся, и от улыбки виднее стал белый пух на верхней его губе.

«Вот тебе и товарищ», – подумал Туркеев и снова улыбнулся. Робевший юноша сделал вдруг очень серьезное лицо, сжал губы и переложил свой портфель со стола на колени. «И что он носит в этом портфеле?» – подумал Туркеев, вообще питавший ненависть ко всем портфелям.

– Кто ж вы такой будете, молодой человек? – спросил он.

Тот опять двинулся на стуле и сделался еще более серьезным.

– Я – инструктор комсомола, – сказал он.

– Инструктор комсомола? Странно...

– И ничего странного нет, – обиделся молодой приезжий, – разве вы никогда не слышали об инструкторах комсомола?

– Слышать-то я, батенька мой, слышал, но странно мне: кого же это вы в лепрозории инструктировать приехали?

– А разве, гражданин доктор, – подчеркивая слово «гражданин», произнес молодой человек, – комсомол не имеет права инструктировать советский лепрозорий?

– Я не возражаю и на права ваши не посягаю, но все-таки мне интересно знать: кого же это вы инструктировать приехали?

Комсомолец вскинул на Туркеева подозрительные глаза. Ему казалось, что доктор нарочно прикидывается непонимающим, хотя сам хорошо понимает все это.

Туркеев на самом деле не мог понять – на кого должны распространяться в лепрозории инструкции, привезенные молодым человеком. Тогда тот, приняв позу настоящего ревизора, сказал тоном, не допускающим никаких возражений:

– Вы все прекрасно понимаете, и мне нечего вам объяснять, вы должны подчиниться – вот мой мандат, выданный райкомом.

– Подчиняюсь, подчиняюсь, батенька мой, но вы мне извольте все-таки ответить: кого ж вы, наконец, хотите инструктировать? Меня, персонал или больных?

– Всех. У вас же есть комсомольская ячейка? Так вот всех комсомольцев – и больных и персонал.

– Вы, наверное, шутите, батенька, а у меня и времени нет для таких шуток.

– Нисколько не шучу.

– Но у нас – все беспартийные, и нет ни одного комсомольца.

– Странно, как же это так, советское учреждение, а партийных и комсомольцев – нет?

– Вот и удивляйтесь, а если я говорю – нет, значит – нет.

Молодой человек подумал и сказал:

– Вот поэтому-то здесь и надо больше всего проводить работу.

– Какую?

– Комсомольскую, партийную работу, гражданин доктор.

– Прежде всего – ясность: среди кого должна вестись такая работа?

Молодой человек переложил портфель с колен на стол и заморгал глазами:

– Среди беспартийных.

– Зачем?

– Как зачем?.. Революция у нас или нет?

– Значит, вы имеете в виду служебный персонал?

– Нет, не персонал, а главным образом – прокаженных.

Доктор Туркеев снова снял очки и с огорчением протер их.

– Знаете что, – наконец устало сказал он, – вам, видно, делать нечего, вот и придумываете вы экскурсии по лепрозориям да работу среди прокаженных, а какую – вы и сами еще не знаете.

Приезжий снова обиделся.

– Что значит «всякие экскурсии»? Мы, главным образом, проводим революцию, и в лепрозории тоже должна быть новая жизнь.

– Вы меня извините. Может быть, я не так выразился, но, по-моему, такая работа среди прокаженных – ненужное дело. По крайней мере, я так считаю.

– А райком считает иначе, гражданин доктор. – Опять юноша подчеркнул слово «гражданин».

– Так что же вы хотите?

– Организовать прокаженных.

– Организовать? Хорошо. Но надо внести ясность – зачем организовать, для чего? Кому это, батенька мой, надо? Ведь они уже организованы!

– Это надо для всех. И для самих прокаженных надо. Они живут, как звери, они должны быть организованы так же, как и весь наш пролетариат.

– Молодой человек, прежде всего – ясность – прокаженные – не пролетариат и не буржуазия, они – прокаженные, больные.

– Гм... а разве прокаженные не люди?

– А разве я хочу доказать вам, что они – не люди? Зачем их организовывать, зачем агитировать среди них? Да и кто примет в партию прокаженных? Смешно это, молодой человек. Они ни на что не способны, кроме как болеть.

Тогда инструктор снова переложил свой портфель со стола на колени и вопрошающе поднял на доктора Туркеева свои большие глаза:

– Они работают в поле? Работают. Умеют ходить? Умеют. Значит, и организовать их надо.

– Но как же вы их организовывать будете?

– Гражданин доктор, об этом вам беспокоиться не надо, у меня – инструкция. Мы созовем общее собрание, я сделаю доклад, а потом – посмотрим, может, кого и примем кандидатом в партию или в комсомол.

Туркеев чувствовал, как этот юный агитатор давит его всей тяжестью своей непобедимой энергии, и из-под этой тяжести доктору нет возможности выбраться. Тогда он напряг последние остатки своей воли и сказал:

– Я не против партии, и не против комсомола, и не против советской власти, и не мое дело – кого вы принимаете в партию, но я, молодой человек, не позволю записывать в партию людей, больных проказой. Да-с, не позволю! – вскрикнул он и устало добавил. – Ну, зачем вы им будете делать доклад? Какие доклады? Какие анкеты? Для чего им все это?

Доктор Туркеев тщетно пытался внести ясность в столь странное стремление молодого человека, точно так же, как и молодой человек не мог уяснить себе цели столь странного нежелания доктора – допустить его к прокаженным. Оба они смотрели друг на друга недоумевающими глазами, и оба старались растолковать друг другу неправильность поведения каждого.

– Ведь они живут как бы на острове, с которого не могут и не имеют права уйти, – сказал Туркеев, чувствуя, как начинает терять почву под ногами, – ведь их изъяли из здорового общества! Их, можно сказать, из жизни вычеркнули, и вдруг – извольте: возвращают обратно – с язвами, с инфильтратами... Нет, я решительно ничего не понимаю.

Но молодой инструктор оставался непоколебим:

– Мы вот и хотим, – сказал он, – приобщить их к жизни и проложить, главным образом, дорогу на этот необитаемый остров, а вы, товарищ доктор, – человек консервативных убеждений и отсталых взглядов на действительность. Для нас, товарищ доктор, нет никаких преград, для нас не существует ни прокаженных, ни непрокаженных. Для нас, главным образом, или все капиталисты и буржуазия, или все трудящиеся и угнетенные, а трудящихся и угнетенных мы обязаны защищать.

В этом месте монолога доктор Туркеев вдруг понял: терпение его начинает истощаться. Он хотел было еще раз протереть очки, но не протер и положил их на стол. Потом торжественно поднялся со своего кресла и почти закричал:

– Вы там – как хотите! Вы можете на меня жаловаться, батенька, хоть в здравотдел, а я не позволю вам приобщать моих больных к общей жизни и прокладывать какие-то мосты с неизвестными мне целями. Я не позволю вам делать докладов и беспокоить больных, это – нелепость! Да-с!

– Так как же? – спросил молодой человек, сунув портфель под мышку. – Вы идете, значит, вразрез с советской общественностью? Вы, значит, против партии?

– Как хотите считайте, но я не допущу никаких собраний у больных, а если хотите посмотреть поселок и больных – милости просим, я могу вас проводить по лепрозорию, показать и доложить обо всем, что вас интересует.

На этом спор между ними кончился. Инструктор выразил согласие осмотреть поселок.

Они вышли. Оба двора были залиты солнцем. Где-то близко звенела степь... Комсомолец, забыв, по-видимому, только что кончившийся спор, улыбнулся. Улыбнулся и доктор Туркеев. Оба начали присматриваться друг к другу, и оба обнаружили друг у друга приятные черты, скрытые в момент столкновения. Молодой человек показался Туркееву очень симпатичным ребенком.

Туркеев молодому человеку – симпатичным старичком, хотя стариком он еще не был и не думал быть.

– Вы видели когда-нибудь прокаженных? – спросил Туркеев.

Оказалось, инструктор никогда не видел прокаженных.

– А вы знаете, что такое проказа?

– Так, слышал. Рассказывали.

– Гм... А хотели общее собрание устраивать. И кто это вас только послал сюда?.. Кто это надоумил устраивать собрания?

Оказалось, ему никто не поручал созывать больных, а инициатива была проявлена им самим, ибо каждый активист должен быть инициатором.

Они вышли на больной двор, обошли несколько домов. Нескольких больных молодой человек угостил папиросами, а Пете подарил механический карандаш.

Некоторым вручил газеты. Он остался весьма доволен внешним и внутренним зрелищем лепрозория и высказал удивление по поводу того, почему больным не разрешают отлучаться домой. Доктор Туркеев сказал, что объяснять причины такого режима длинная история, и молодой человек вполне удовлетворился его ответом. Затем Туркеев провел его в лабораторию, и молодой человек восхищался чистотой, которую увидел в лаборатории. Потом осмотрел амбулаторию и остался ею также весьма доволен. Потом заглянул на кухню, но и там не нашел никаких дефектов. При выходе оттуда он встретил одного больного и протянул ему руку. Но доктор Туркеев отсоветовал. Молодой человек хотел обидеться и не успел. Затем Туркеев повел его в ванную комнату и предложил вымыть руки сулемой. Гость заявил, что все это – выдумки. Туркеев все-таки заставил его вымыть руки.

На прощанье он сказал молодому человеку:

– Вы вот видели весь лепрозорий. Вы не можете пожаловаться, что от вас что-нибудь скрывали... Теперь, я думаю, вы понимаете, почему нельзя устраивать среди прокаженных общих собраний и вести организационную работу.

Молодой человек смотрел на него мутными глазами, и глаза эти говорили: он решительно не понимает, почему нельзя вести среди больных такую работу.

Тем не менее он все-таки кивнул головой.

– Так вот, – продолжал доктор Туркеев, – вместо докладов да общих собраний вы, батенька, позаботились бы там насчет киноаппарата. Вы не знаете, какую услугу можете оказать больным.

Они простились, пожав друг другу руки. Молодой человек уехал, и доктор Туркеев почему-то был уверен, что странный гость обязательно нажалуется на него в здравотдел. Но прошло два месяца, и от здравотдела не поступило никаких бумаг, касающихся приезда инструктора комсомола. Скоро доктор Туркеев совсем забыл о нем.

Однажды, проезжая по главной улице города на своем тарантасе, он вдруг услышал чей-то громкий голос, обращенный, по-видимому, к нему:

– Доктор! Доктор! Подождите! Остановитесь!

«Где я видел этого молодого человека?» – подумал он, скользнув глазами по светлому пушку на верхней губе юноши, и вдруг вспомнил: инструктор комсомола... старый знакомый!

– Ну, здравствуйте, здравствуйте, батенька.

И они пожали друг другу руки, как давнишние приятели.

Комсомолец отчего-то просиял.

– Доктор, а я не забыл вашего совета. Помните, на прощанье вы сказали мне о киноаппарате? Я ведь его добыл. Исправный, и фильм есть. Только будку у вас там в клубе приладить надо. Заезжайте к нам в райком и возьмите.

Туркеев открыл от удивления рот. Он не ожидал такого оборота.

– Трогай к комсомолу, – сказал молодой человек кучеру и прыгнул в тарантас...

– Аппарат был немного попорченный, – доложил он Туркееву, – но мы его поправили. Хорошо работает. Сам пробовал, – с гордостью заявил он. – И картину приготовили – из жизни морских пиратов. Есть там один великан-пират. Здоровый парень. Молодец.

– Ну, батенька, – с восторгом оглядывая юношу, сказал Туркеев, – я этого совсем не ожидал, совсем... – Потом весь просветлел и обнял инструктора комсомола. Оба были счастливы.

С тех пор в лепрозории начал работать собственный кинотеатр, энергию для которого вырабатывал лепрозорийный трактор. Поселок прокаженных получил два подарка: электричество и кино.

11. Прошедшие мимо

Люди, ничего общего не имевшие с лепрозорием, посещали его редко. За много лет своей работы в поселке доктор Туркеев помнит несколько случаев таких посещений. Обыкновенно посетители приезжали исключительно за тем, чтобы посмотреть, как живут прокаженные и кто они такие. Одним из первых посетителей был журналист, сотрудник одной большой газеты. Он привез с собой фотографический аппарат и попросил разрешения снять больных. Журналист снял несколько групп, потом отдельных прокаженных и удивлялся, что они снимались чрезвычайно охотно. Удивил его особенно один больной с изрытым язвами лицом.

Этот человек принарядился, причесался и все спрашивал его – хорошо ли получится?

«Неужели ему приятно сниматься?! – в последствии удивлялся журналист. – Неужели такая карточка может доставить ему или кому-нибудь хоть какое-нибудь удовольствие?»

Журналист уехал, пообещав доктору Туркееву прислать карточки, и не прислал. Спустя два месяца от него получили письмо: негативы испортились, из снимков ничего не получилось. На больном дворе это известие было встречено с большим огорчением.

Вскоре после отъезда журналиста доктор Туркеев как-то ночью принял двух молодых людей. Загорелые лица цвели здоровьем. За спинами их висели походные мешки. Одеты они были в трусики. Станный вид гостей несколько озадачил Туркеева. Они представились: «путешественники по Советскому Союзу». Они шли из одного города в другой и попросили пустить их на ночлег.

– Как же называется ваш совхоз, товарищ заведующий?

Доктор Туркеев посмотрел на них так, будто они шутили с ним, и сказал:

– Никак не называется... Это не совхоз, а лепрозорий.

– Лепрозорий? – спросили они разом, ошеломленные ответом доктора.

Оба внезапно стали похожи на цыплят, которых ловят для кухни.

– Значит, тут живут прокаженные? – осведомился один из них, и голос его упал.

– Да, прокаженные.

Они предусмотрительно отошли к двери.

– А вы... вы, значит, тоже прокаженный? – спросил один из них, взглянув на доктора Туркеева глазами, открытыми до отказа.

Доктор Туркеев улыбнулся.

– Нет, я не прокаженный. Я – врач.

– Гм... странно!

Путешественники посмотрели друг на друга и поняли друг друга без слов.

– Скажите, пожалуйста, доктор, сколько еще верст осталось до города?

– Двадцать три.

Они подумали и пришли к заключению: расстояние, в сущности, пустяковое, и они быстро одолеют его.

– Что ж, я вас не удерживаю, но и не гоню, – сказал Туркеев, – как хотите.

Они все-таки ушли, хотя были очень усталы и у них слипались глаза.

Провожая «путешественников» за ворота, доктор Туркеев размышлял: «Да, вот так думают о нас все...»

Ему почему-то горько стало и за больных, и за себя, и за этот нелепый человеческий страх, и за это отношение к прокаженным. «А глаза-то какие у них стали... Глаза-то... И усталость словно ветром унесло... Эх, люди, люди...» – думал доктор Туркеев, возвращаясь к себе.

Впрочем, не все попадавшие в лепрозорий ходили на этих двух путешественников. Встречались и другие, относившиеся к прокаженным совсем иначе. Но их насчитывалось очень мало, и они редко приезжали в поселок.

Вообще же, кто бы ни приезжал сюда, делал такие глаза, будто его вынуждали прыгать в пропасть. В лепрозории помнят только один случай, когда приезжие люди были лишены страха и отвращения к больным. Это был единственный в своем роде эпизод.

Произошел он очень давно, когда не было еще Туркеева, не было революции, когда лепрозорий представлял собой не лечебное учреждение, а собрание жалких бараков на больном дворе, когда на здоровом обитал только один фельдшер да два санитары. Свидетелями этого эпизода остались четыре-пять прокаженных, но, несмотря на давность, они помнят его так ясно и отчетливо, будто произошел он вчера...

Как описывают его оставшиеся в живых обитатели лепрозория, эпизод этот происходил в следующей обстановке.

В тот год, хотя больной двор и насчитывал у себя уже около сорока прокаженных, поселок представлял собой зрелище все-таки крайне жалкое и убогое. Под косогором жались друг к другу несколько бараков, походивших скорее на сараи, чем на человеческое жилье. Внутри бараков не было почти никакой обстановки, кроме грязных нар и грубых столов. Прокаженные жили «на казарменном положении», т. е. в одном бараке ютилось несколько семейств. Тут всегда стояли дым и чад, всегда были грязь и теснота. Жилища походили скорей на тюремные камеры, чем на палаты, в которых пребывают больные люди.

Прокаженные были предоставлены почти самим себе. Всякий режим отсутствовал, присмотра не было никакого, охраны – тоже. Они могли уходить отсюда куда угодно и когда угодно, ибо их никто не проверял, ибо люди, ведавшие лепрозорием, были уверены, что отдаленность от жилых мест не позволит больным отлучаться. На самом деле прокаженные отлучались, особенно те, которые не имели ни родных, ни знакомых, которым никто не оказывал помощи. Они ходили в город и ближайшие села нищенствовать, собирать куски хлеба, всякое подавание и снова возвращались назад.

Люди, ведавшие лепрозорием, очень мало заботились о прокаженных, хотя и получали жалованье за то чтобы о них заботиться. Правда, лепрозорий имел своего заведующего – врача. Но он приезжал всего один раз в неделю, выслушивал доклад фельдшера, обходил больной двор, по заведенному порядку обедал у кого-нибудь из прокаженных и снова уезжал в город. И опять лепрозорий жил прежней жизнью, и снова на больном дворе по-прежнему было грязно и неприветливо.

Лепрозорием фактически руководил фельдшер Токмаков. Он считал, что в такое «погибельное место» могут сослать человека только за тяжкое преступление. Преступления он как будто бы не совершал и потому считал себя чем-то вроде мученика или героя. Сочувствия себе он не находил ни у кого и почти каждый день напивался до потери сознания. В такие минуты он ругал всех, начиная с доктора и кончая прокаженными, неведомо почему свалившимися на его ни в чем не повинную голову. Он появлялся на больном дворе шатающийся, свирепо размахивающий руками, кричал и грозил, что отныне он бросит лепрозорий, уйдет отсюда, наплюет на всех, в том числе на доктора, и «пусть живут больные как хотят», а ему все это – надоело. Токмаков доказывал в припадке пьяной и буйной фантазии, что доктор ничего в медицине не понимает и даром получает жалованье заведующего, а он, Токмаков, работает круглые сутки, фактически ведет все дела и за все это получает только сорок пять рублей в месяц. Так куражился он иногда целыми ночами, а наутро поднимался мрачный и молчаливый. Он не помнил, что говорил накануне, и, вызывая по списку больных, которых, по его мнению, надо было осмотреть, казался злым и ожесточенным.

Этот Токмаков являлся единственным представителем медицины в лепрозории и лечил больных всякими средствами, которые приходили в голову. Он давал им генокардиево масло – внутрь и для растирания, но масло было отвратительно, и не всякий больной мог переносить его. Нередко Токмаков практиковал лечение неочищенным керосином, прописывая его как для втирания, так и для приема внутрь, и, по свидетельству самой древней обитательницы

лепрозория Феклушки, такое лечение помогало. Иногда он прибегал к наиболее радикальному способу лечения – прижиганию раскаленным железом лепрозных инфильтратов. Он выжигал бугры и узлы самым решительным образом, и они исчезали, как свидетельствовала та же Феклушка, навсегда. По-видимому, Токмаков не останавливался ни перед какими опытами и способами лечения. Он, например, вырезывал язвы и достигал благоприятных результатов: язвы исчезали, уступая место безобразным и неизгладимым на всю жизнь рубцам. Он был, по рассказам, весьма смелый и решительный лекарь, и если бы ему взбрело в голову вынуть мозг из головы прокаженного, он вынул бы. И не случайно поэтому смертность, наравне с некоторыми успехами лечения, при Токмакове достигала потрясающих размеров. Прокаженные умирали чуть ли не каждую неделю.

Это несколько не трогало его, так же как не трогало наезжающего сюда время от времени врача... Токмаков не боялся заражения, ибо верил в незаразность проказы. Кроме того, он считал: водка – вернейшее средство против заразы.

Таких токмаковых в истории проказы было много, но их превзошли «ученые люди» из врачебной управы Астраханского казачьего войска, имевшие дипломы докторов медицины. Они увековечили в 1825 году свои имена исключительным по своему содержанию документом, посланным казачьей администрации в ответ на запрос о необходимости перевода прокаженных в больницы.

«Таких больных с лучшей удобностью, – писала врачебная управа, – оставить можно на попечение родственников, если оные не откажутся их держать у себя, и сие удобство – потому более, что она болезнь не прилипчивая».

Далее врачебная управа писала:

«Причина этой отвратительной болезни есть, кроме внутреннего предрасположения всех соков тела и готовности оного к принятию болезни, еще – жаркий климат, где кровь и все соки направляются к поверхности кожи, на которой собирается пот и всякая грязь и при неопрятности и нечистоте делается острой и всасывается обратно в тело. Еще же более к проведению сей болезни способствует пища – грубая, острая, фосфором изобильная, каковую составляет рыба. Далее, при недостатке одежды, при каковой одна и та же одежда и мокнет, и высыхает на бедном человеке. При сей отвратительной болезни следует соблюдать предосторожности:

1) Остерегаться внезапного перехода от жары к холоду, вспотевши не купаться, в жаркое время меньше работать.

2) Сколько меньше употреблять рыбной пищи, более употреблять пищу молочную, растительную и животную.

3) Мыться в банях, приготовленных из пшеничных отрубей и еще же лучше – с молоком.

4) Пить травяные чаи из тrefоля, корки вязовой и розмарины.

5) Употреблять легкие слабительные из огуречного рассола с медом, квасом или солью.

6) Пить в летнее время отвар из корней татарника, песочной осоки, мыльной травы и лопушника, а ежели кто в состоянии – из сассапариллы. Употребляя сии средства, означенная болезнь не только может уменьшиться, но, если она недавно еще открылась, даже совершенно уничтожиться».

Система Токмакова была схожа с системой, рекомендуемой Астраханской врачебной управой. Разница состояла только в том, что там были врачи, здесь – фельдшер, там была «теория», тут – практика.

Так шли дни за днями – такие серые, такие похожие один на другой, тоскливые и безрадостные, как вой шакалов в степи.

И вот однажды сюда приехали двое: мужчина и женщина. Оба они были молоды и оба, как свидетельствовала Феклушка, красивы. В тот день Токмаков объявил прокаженным, что это – музыканты, но он не сказал, зачем они приехали. Они пришли на больной двор. И странно было видеть их здесь.

Девушка была одета в синее шелковое платье, будто собралась на большой праздник, и казалась такой чистой и светлой, что прокаженные стыдились приблизиться к ней. Они словно боялись показать ей свои лица, будто опасаясь загрязнить ее язвами, – такая, по описаниям Феклушки, была эта девушка. Они обошли все бараки и в каждом из них оставили подарки: одним – книги, другим – сладости, третьим – бельевой материал. Они подолгу просиживали в каждом бараке, разговаривали с прокаженными, расспрашивали о болезни, о родственниках, о том, как им живется, и еще о многих простых и понятных вещах. Больным было приятно видеть их. Им приятно было сознавать, что вот такие прекрасные люди не погнушались ими, не побоялись их и пришли к ним с такою сердечностью и простотой. Почему они приехали сюда – никто не знал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.